

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

### I

Для Раскольникова наступило странное время: точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение. Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что так продолжалось, с некоторыми промежутками, вплоть до окончательной катастрофы. Он был убежден положительно, что во многом тогда ошибался, например, в сроках и времени некоторых происшествий. По крайней мере, припоминая впоследствии и силясь уяснить себе припоминаемое, он многое узнал о себе самом, уже руководясь сведениями, полученными от посторонних. Одно событие он смешивал, например, с другим; другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении. Порой овладевала им болезненно-мучительная тревога, перерождавшаяся даже в панический страх. Но он помнил тоже, что бывали минуты, часы и даже, может быть, дни, полные апатии, овладевавшей им, как бы в противоположность прежнему страху, — апатии, похожей на болезненно-равнодушное состояние иных умирающих. Вообще же в эти последние дни он и сам как бы старался убежать от ясного и полного понимания своего положения; иные насущные факты, требовавшие немедленного разъяснения, особенно тяготили его; но как рад бы он был освободиться и убежать от иных забот, забвение которых грозило, впрочем, полною и неминуемую гибелью в его положении.

Особенно тревожил его Свидригайлов: можно даже было сказать, что он как будто остановился на Свидригайлове. Со времени слишком грозных для него и слишком ясно высказанных слов Свидригайлова, в квартире у Сони, в минуту смерти Катерины Ивановны, как бы нарушилось обыкновенное течение его мыслей. Но, несмотря на то что этот новый факт чрезвычайно его беспокоил, Раскольников как-то не спешил с разъяснением дела. Порой вдруг находя себя где-нибудь в отдаленной и уединенной части города, в каком-нибудь жалком трактире, одного, за столом, в размышлении, и едва помня, как он попал сюда, он вспоминал вдруг о Свидригайлове: ему вдруг слишком ясно и тревожно сознавалось, что надо бы, как можно скорее, сговориться с этим человеком и, что возможно, порешить окончательно. Один раз, зайдя куда-то за заставу, он даже вообразил себе, что ждет здесь Свидригайлова и что здесь назначено у них свидание. В другой раз он проснулся пред рассветом где-то на земле, в кустах, и почти не понимал, как забрел сюда. Впрочем, в эти два-три дня после смерти Катерины Ивановны он уже раза два встречался с Свидригайловым, всегда почти в квартире у Сони, куда он заходил как-то без цели, но всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальном пункте, как будто между ними так само собою и условилось, чтобы молчать об этом до времени. Тело Катерины Ивановны еще лежало в гробу: Свидригайлов распоряжался похоронами и хлопотал. Соня тоже была очень занята. В последнюю встречу Свидригайлов объяснил Раскольникову, что с детьми Катерины Ивановны он как-то покончил, и покончил удачно; что у него, благодаря кой-каким связям, отыскивались такие лица, с помощью которых можно было поместить всех троих сирот, немедленно, в весьма приличные для них заведения; что отложенные для них деньги тоже многому помогли, так как сирот с капиталом поместить гораздо легче, чем сирот нищих. Сказал он что-то и про Соню, обещал как-нибудь зайти на днях сам к Раскольникову и упомянул, что «желал бы посоветоваться; что очень надо бы поговорить, что есть такие дела...». Разговор этот происходил в сенях, у лестницы. Свидригайлов пристально смотрел в глаза Раскольникову и вдруг, помолчав и понизив голос, спросил:

— Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Право! Слушаете и глядите, а как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте поговорим: жаль только, что дела много и чужого и своего... Эх, Родион Романыч, — прибавил он вдруг, — всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!

Он вдруг посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дьячка. Они шли служить панихиду. По распоряжению Свидригайлова панихиды служились два раза в день, аккуратно. Свидригайлов пошел своею дорогой. Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони.

Он встал в дверях. Начиналась служба, тихо, чинно, грустно. В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически ужасное, с самого детства; да и давно уже он не слышал панихиды. Да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное. Он смотрел на детей: все они стояли у гроба, на коленях, Полечка плакала. Сзади них, тихо и как бы робко плача, молилась Соня. «А ведь она в эти дни ни разу на меня не взглянула и слова мне не сказала», — подумалось вдруг Раскольникову. Солнце ярко освещало комнату; кафельный дым восходил клубами; священник читал «Упокой, Господи». Раскольников отстоял всю службу. Благословляя и прощаясь, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением; даже странно было: как? ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке! Это уж была какая-то бесконечность собственного уничтожения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если б возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на Толкучий, на Сенную. Здесь было уж как будто бы легче и даже уединеннее. В одной харчевне, перед вечером, пели песни: он просидел целый час, слушая, и помнил, что ему даже было очень приятно. Но под конец он вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение совести вдруг начало его мучить: «Вот, сижу, песни слушаю, а разве то мне надобно делать!» — как будто подумал он. Впрочем, он тут же догадался, что и не это одно его тревожит; было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя было передать. Все в какой-то клубок сматывалось. «Нет, уж лучше бы какая борьба! Лучше бы опять Порфирий... или Свидригайлов... Поскорей бы опять какой-нибудь вызов, чье-нибудь нападение... Да! да!» — думал он. Он вышел из харчевни и бросился чуть не бежать. Мысль о Дуне и матери навела на него вдруг почему-то как бы панический страх. В эту-то ночь, перед утром, он и проснулся в кустах, на Крестовском острове, весь измогнутый, в лихорадке; он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно: было два часа пополудни.

Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них. Настасья принесла ему есть; он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее, чем в эти последние три дня. Он даже подивился, мельком, прежним приливам своего панического страха. Дверь отворилась, и вошел Разумихин.

— А! ест, стало быть, не болен! — сказал Разумихин, взял стул и сел за стол против Раскольникова. Он был встревожен и не старался этого скрыть. Говорил он с видимою досадой, но не торопясь и не возвышая особенно голоса. Можно бы подумать, что в нем засело какое-то особое и даже исключительное намерение. — Слушай, — начал он решительно, — мне там черт с вами со всеми, но по тому, что я вижу теперь, вижу ясно, что ничего не могу понять; пожалуйста, не считай, что я пришел допрашивать. Наплевать! Сам не хочу! Сам теперь все открывай, все ваши секреты, так я еще и слушать-то, может быть, не стану, плюну и уйду. Я пришел только узнать лично и окончательно: правда ли,

во-первых, что ты сумасшедший? Про тебя, видишь ли, существует убеждение (ну, там, где-нибудь), что ты, может быть, сумасшедший или очень к тому склонен. Признаюсь тебе, я и сам сильно был склонен поддерживать это мнение, во-первых, судя по твоим глупым и отчасти гнусным поступкам (ничем не объяснимым), а во-вторых, по твоему недавнему поведению с матерью и сестрой. Только изверг и подлец, если не сумасшедший, мог бы так поступить с ними, как ты поступил; а следовательно, ты сумасшедший...

— Ты давно их видел?

— Сейчас. А ты с тех пор не видал? Где ты шляешься, скажи мне, пожалуйста, я уж к тебе три раза заходил. Мать больна со вчерашнего дня серьезно. Собралась к тебе; Авдотья Романовна стала удерживать; слушать ничего не хочет: «Если он, говорит, болен, если у него ум мешается, кто же ему поможет, как не мать?» Пришли мы сюда все, потому не бросать же нам ее одну. До самых твоих дверей упрашивали успокоиться. Вошли, тебя нет; вот здесь она и сидела. Просидела десять минут, мы над нею стояли, молча. Встала и говорит: «Если он со двора выходит, а стало быть, здоров, и мать забыл, значит, неприлично и стыдно матери у порога стоять и ласки, как подачки, выпрашивать». Домой воротилась и слегла; теперь в жару: «Вижу, говорит, для *своей* у него есть время». Она полагает, что *своя*-то это Софья Семеновна, твоя невеста или любовница, уж не знаю. Я пошел было тотчас к Софье Семеновне, потому, брат, я хотел все разузнать, — прихожу, смотрю: гроб стоит, дети плачут. Софья Семеновна траурные платица им примеряет. Тебя нет. Посмотрел, извинился и вышел, так и Авдотье Романовне донес. Все, стало быть, это вздор, и нет тут никакой *своей*, вернее всего, стало быть, сумасшествие. Но вот ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ел. Оно, положим, и сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слова со мной не сказал, но ты... не сумасшедший! в этом я поклянусь. Прежде всего не сумасшедший. Итак, черт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет; а я над вашими секретами ломать головы не намерен. Так только зашел обругаться, — заключил он, вставая, — душу отвести, а я знаю, что мне теперь делать!

— Что же ты теперь хочешь делать?

— А тебе какое дело, что я теперь хочу делать?

— Смотри, ты запьешь!

— Почему... почему ты это узнал?

— Ну, вот еще!

Разумихин помолчал с минуту.

— Ты всегда был очень рассудительный человек и никогда, никогда ты не был сумасшедшим, — заметил он вдруг с жаром. — Это так: я запью! Прощай! — И он двинулся идти.

— Я о тебе, третьего дня кажется, с сестрой говорил, Разумихин.

— Обо мне! Да... ты где же ее мог видеть третьего дня? — вдруг остановился Разумихин, даже побледнел немного. Можно было угадать, что сердце его медленно и с напряжением застучало в груди.

— Она сюда приходила, одна, здесь сидела, говорила со мной.

— Она!

— Да, она.

— Что же ты говорил... я хочу сказать, обо мне-то?

— Я сказал ей, что ты очень хороший, честный и трудолюбивый человек. Что ты ее любишь, я ей не говорил, потому она это сама знает.

— Сама знает?

— Ну, вот еще! Куда бы я ни отправился, что бы со мной ни случилось, — ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому что совершенно знаю, как ты ее любишь, и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что и она тебя может любить, и даже, может быть, уж и любит. Теперь сам решай,

как знаешь лучше, — надо иль не надо тебе запивать.

— Родька... Видишь... Ну... Ах, черт! А ты-то куда хочешь отправиться? Видишь: если все это секрет, то пусть! Но я... я узнаю секрет... И уверен, что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки и что ты один все и затеял. А впрочем, ты отличнейший человек! Отличнейший человек!..

— А я именно хотел тебе прибавить, да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча рассудил, чтобы тайны и секреты эти не узнавать. Оставь до времени, не беспокойся. Все в свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет.

Разумихин стоял в задумчивости и в волнении что-то соображал.

«Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного шага — это наверно! Иначе быть не может и... и Дуня знает...» — подумал он вдруг про себя.

— Так к тебе ходит Авдотья Романовна, — проговорил он, скандируя слова, — а ты сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и... и, стало быть, и это письмо... это тоже что-нибудь из того же, — заключил он как бы про себя.

— Какое письмо?

— Она письмо одно получила, сегодня, ее очень встревожило. Очень. Слишком уж даже. Я заговорил о тебе — просила замолчать. Потом... потом сказала, что, может, мы очень скоро расстанемся, потом стала меня за что-то горячо благодарить; потом ушла к себе и заперлась.

— Она письмо получила? — задумчиво переспросил Раскольников.

— Да, письмо; а ты не знал? Гм.

Они оба помолчали.

— Прощай, Родион. Я, брат... было одно время... а впрочем, прощай, видишь, было одно время... Ну, прощай! Мне тоже пора. Пить не буду. Теперь не надо... врешь!

Он торопился; но уже выходя и уж почти затворив за собою дверь, вдруг отворил ее снова и сказал, глядя куда-то в сторону:

— Кстати! Помнишь это убийство, ну, вот Порфирий-то: старуху-то? Ну, так знай, что убийца этот отыскан, сознался сам и доказательства все представил. Это один из тех самых работников, красильщики-то, представь себе, помнишь, я их тут еще защищал? Веришь ли, что всю эту сцену драки и смеху на лестнице, с своим товарищем, когда те-то взбирались, дворник и два свидетеля, он нарочно устроил именно для отводу. Какова хитрость, каково присутствие духа в таком щенке! Поверить трудно; да сам разъяснил, сам во всем признался! И как я-то влопался! Что ж, по-моему, это только гений притворства и находчивости, гений юридического отвода, — а стало быть, нечему особенно удивляться! Разве такие не могут быть? А что он не выдержал характера и сознался, так я ему за это еще больше верю. Правдоподобнее... Но как я-то, я-то тогда влопался! За них на стену лез!

— Скажи, пожалуйста, откуда ты это узнал и почему тебя это так интересует? — с видимым волнением спросил Раскольников.

— Ну вот еще! Почему меня интересует! Спросил!.. А узнал я от Порфирия, в числе других. Впрочем, от него почти все и узнал.

— От Порфирия?

— От Порфирия.

— Что же... что же он? — испуганно спросил Раскольников.

— Он это отлично мне разъяснил. Психологически разъяснил по-своему.

— Он разъяснил? Сам же тебе и разъяснял?

— Сам, сам; прощай! Потом еще кой-что расскажу, а теперь дело есть. Там... было одно время, что я подумал... Ну да что; потом!.. Зачем мне теперь напиваться. Ты меня и

без вина напоил. Пьян ведь я, Родька! Без вина пьян теперь, ну да прощай; зайду, очень скоро.

Он вышел.

«Это, это политический заговорщик, это наверно, наверно! — окончательно решил про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. — И сестру втянул; это очень, очень может быть с характером Авдотьи Романовны. Свидания у них пошли... А ведь она тоже мне намекала. По многим ее словам... и словечкам... и намекам все это выходит именно так! Да и как иначе объяснить всю эту путаницу? Гм! А я было думал... О господи, что это я было вздумал. Да-с, это было затмение, и я пред ним виноват! Это он тогда у лампы, в коридоре, затмение на меня навел. Тьфу! Какая скверная, грубая, подлая мысль с моей стороны! Молодец Николка, что признался... Да и прежнее теперь как все объясняется! Эта болезнь его тогда, его странные все такие поступки, даже и прежде, прежде, еще в университете, какой он был всегда мрачный, угрюмый... Но что же значит теперь это письмо? Тут, пожалуй, что-нибудь тоже есть. От кого это письмо? Я подозреваю... Гм. Нет, это я все разужнаю».

Он вспомнил и сообразил все о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и побежал.

Раскольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о тесноте своей конуры, и... сел опять на диван. Он весь как бы обновился; опять борьба — значит, нашелся исход!

«Да, значит, нашелся исход! А то уж слишком все сперлось и закупорилось, мучительно стало давить, дурман нападал какой-то. С самой сцены с Миколкой у Порфирия начал он задыхаться без выхода, в тесноте. После Миколки в тот же день была сцена у Сони; вел и кончил он ее совсем, совсем не так, как бы мог воображать себе прежде... ослабел, значит, мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился, сердцем согласился, что так ему одному с таким делом на душе не прожить! А Свидригайлов? Свидригайлов загадка... Свидригайлов беспокоит его, это правда, но как-то не с той стороны. С Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход; но Порфирий дело другое.

Итак, Порфирий сам еще и разъяснял Разумихину, *психологически* ему разъяснял! Опять свою проклятую психологию подводить начал! Порфирий-то? Да чтобы Порфирий поверил хоть на одну минуту, что Миколка виновен, после того, что между ними было тогда, после той сцены, глаз на глаз, до Миколки, на которую нельзя найти правильного толкования, кроме *одного*? (Раскольникову несколько раз в эти дни мелькалась и вспоминалась клочками вся эта сцена с Порфирием: в целом он бы не мог вынести воспоминания.) Были в то время произнесены между ними такие слова, произошли такие движения и жесты, обменялись они такими взглядами, сказано было кой-что таким голосом, доходило до таких пределов, что уж после этого не Миколке (которого Порфирий наизусть с первого слова и жеста угадал), не Миколке было поколебать самую основу его убеждений.

А каково! Даже Разумихин начал было подозревать! Сцена в коридоре, у лампы, прошла тогда даром. Вот он бросился к Порфирию... Но с какой же стати этот-то стал его так надувать? Что у него за цель отводить глаза у Разумихина на Миколку? Ведь он непременно что-то задумал; тут есть намерения, но какие? Правда, с того утра прошло много времени, — слишком, слишком много, а о Порфирии не было ни слуху ни духу. Что ж, это, конечно, хуже...» Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошел из комнаты. Первый день, во все это время, он чувствовал себя по крайней мере в здравом сознании. «Надо кончить с Свидригайловым, — думал он, — и во что бы ни стало, как можно скорей: этот тоже, кажется, ждет, чтоб я сам к нему пришел». И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он бы мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать. «Посмотрим,

посмотрим», — повторял он про себя.

Но только что он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с самим Порфирием. Тот входил к нему. Раскольников остолбенел на одну минуту. Странно, он не очень удивился Порфирию и почти его не испугался. Он только вздрогнул, но быстро, мгновенно приготовился. «Может быть, развязка! Но как же это он подошел тихонько, как кошка, и я ничего не слышал? Неужели подслушивал?»

— Не ждали гостя, Родион Романыч, — вскричал, смеясь, Порфирий Петрович. — Давно завернуть собирался, прохожу, думаю — почему не зайти минут на пять проведать. Куда-то собрались? Не задержу. Только вот одну папиросочку, если позволите.

— Да садитесь, Порфирий Петрович, садитесь, — усаживал гостя Раскольников, с таким, по-видимому, довольным и дружеским видом, что, право, сам на себя подивился, если бы мог на себя поглядеть. Последки, подонки выскребывались! Иногда этак человек вытерпит полчаса смертного страха с разбойником, а как приложит ему нож к горлу окончательно, так тут даже и страх пройдет. Он прямо уселся пред Порфирием и, не смигнув, смотрел на него. Порфирий прищурился и начал закуривать папироску.

«Ну, говори же, говори же, — как будто так и хотело выпрыгнуть из сердца Раскольникова. — Ну, что же, что же, что же ты не говоришь?»

## II

— Ведь вот эти папироски! — заговорил, наконец, Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдыгнувшись, — вред, чистый вред, а отстать не могу! Кашляю-с, першить начало, и одышка. Я, знаете, труслив-с, поехал наведни к Б—ну, — каждого больного minimum по получасу осматривает; так даже рассмеялся, на меня глядя: и стучал и слушал, — вам, говорит, между прочим, табак не годится; легкие расширены. Ну, а как я его брошу? Чем заменю? Не пью-с, вот вся и беда, хе-хе-хе, что не пью-то, беда! Все ведь относительно, Родион Романыч, все относительно!

«Что же это он, за свою прежнюю казенщину принимается, что ли!» — с отвращением подумалось Раскольникову. Вся недавняя сцена последнего их свидания внезапно ему припомнилась, и тогдашнее чувство волною прихлынуло к его сердцу.

— А ведь я к вам уже заходил третьего дня вечером; вы и не знаете? — продолжал Порфирий Петрович, осматривая комнату, — в комнату, в эту самую, входил. Тоже, как и сегодня, прохожу мимо — дай, думаю, визитик-то ему отдам. Зашел, а комната настезь; осмотрелся, подождал, да и служанке вашей не доложил — вышел. Не запираете?

Лицо Раскольникова омрачалось более и более. Порфирий точно угадал его мысли.

— Объясниться пришел, голубчик Родион Романович, объясниться-с! Должен и обязан пред вами объяснением-с, — продолжал он с улыбкой и даже слегка стукнул ладонью по коленке Раскольникова, но почти в то же мгновение лицо его вдруг приняло серьезную и озабоченную мину; даже как будто грустью подернулось, к удивлению Раскольникова. Он никогда еще не видал и не подозревал у него такого лица. — Странная сцена произошла в последний раз между нами, Родион Романыч. Оно, пожалуй, и в первое наше свидание между нами происходила тоже странная сцена; но тогда... Ну, теперь уж все одно к одному! Вот что-с; я, может быть, и очень виноват перед вами выхожу; я это чувствую-с. Ведь мы как расстались-то, помните ли: у вас нервы поют и подколенки дрожат, и у меня нервы поют и подколенки дрожат. И знаете, как-то оно даже и непорядочно между нами тогда вышло, не по-джентльменски. А ведь мы все-таки джентльмены; то есть, во всяком случае, прежде всего джентльмены; это надо понимать-с. Ведь помните, до чего доходило... совсем уже даже и неприлично-с.

«Что ж это он, за кого меня принимает?» — с изумлением спрашивал себя Раскольников, приподняв голову и во все глаза смотря на Порфирия.

— Я рассудил, что нам по откровенности теперь действовать лучше, — продолжал Порфирий Петрович, немного откинув голову и опустив глаза, как бы не желая более

смущать своим взглядом свою прежнюю жертву и как бы пренебрегая своими прежними приемами и уловками, — да-с, такие подозрения и такие сцены продолжаться долго не могут. Разрешил нас тогда Миколка, а то я и не знаю, до чего бы между нами дошло. Этот проклятый мешанинишка просидел у меня тогда за перегородкой, — можете себе это представить? Вы, конечно, уж это знаете; да и самому мне известно, что он к вам потом заходил; но то, что вы тогда предположили, того не было; ни за кем я не посылал и ни в чем еще я тогда не распорядился. Спрóсите, почему не распорядился? А как вам сказать: самого меня это все тогда как бы пристукнуло. Я и за дворниками-то едва распорядился послать. (Дворников-то небось заметили, проходя.) Мысль тогда у меня пронеслась, так одна, быстро, как молния; крепко уж, видите ли, убежден я был тогда, Родион Романыч. Дай же, я думаю, хоть и упущу на время одно, зато другое схвачу за хвост, — своего-то, своего-то по крайности не упущу. Раздражительны вы уж очень, Родион Романыч, от природы-с; даже уж слишком-с, при всех-то других основных свойствах вашего характера и сердца, которые, я льщу себя надеждой, что отчасти постиг-с. Ну, уж конечно, и я мог, даже и тогда, рассудить, что не всегда этак случается, чтобы вот встал человек да и брякнул вам всю подноготную. Это хоть и случается, в особенности когда человека из последнего терпения выведешь, но, во всяком случае, редко. Это и я мог рассудить. Нет, думаю, мне бы хоть черточку! хоть бы самую махочку черточку, только одну, но только такую, чтоб уж этак руками можно взять было, чтоб уж вещь была, а не то что одну эту психологию. Потому, думал я, если человек виновен, то уж, конечно, можно, во всяком случае, чего-нибудь существенного от него дожидаться; позволительно даже и на самый неожиданный результат рассчитывать. На характер ваш я тогда рассчитывал, Родион Романыч, больше всего на характер-с! Надеялся уж очень тогда на вас.

— Да вы... да что же вы теперь-то все так говорите, — пробормотал наконец Раскольников, даже не осмыслив хорошенько вопроса. «Об чем он говорит, — терялся он про себя, — неужели же в самом деле за невинного меня принимает?»

— Что так говорю? Я объясниться пришел-с, так сказать, долгом святым почитаю. Хочу вам все дотла изложить, как все было, всю эту историю всего этого тогдашнего, так сказать, омрачения. Много я заставил вас перестрадать, Родион Романыч. Я не изверг-с. Ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себе человеку, удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому! Я вас, во всяком случае, за человека наибогороднейшего почитаю-с, и даже с зачатками великодушия-с, хоть и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед, прямо и с совершенною искренностью, ибо прежде всего не желаю обманывать. Познав вас, почувствовал к вам привязанность. Вы, может быть, на такие мои слова рассмеетесь! Право имеете-с. Знаю, что вы меня и с первого взгляда не полюбили, потому, в сущности, и не за что полюбить-с. Но считайте как хотите, а теперь желаю, с моей стороны, всеми средствами загладить произведенное впечатление и доказать, что и я человек с сердцем и совестью. Искренно говорю-с.

Порфирий Петрович приостановился с достоинством. Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его.

— Рассказывать все по порядку, как это вдруг тогда началось, вряд ли нужно, — продолжал Порфирий Петрович, — я думаю, даже и лишнее. Да и вряд ли я смогу-с. Потому, как это объяснить обстоятельно? Первоначально слухи пошли. О том, какие это были слухи и от кого и когда... и по какому поводу собственно до вас дело дошло, — тоже, я думаю, лишнее. Лично же у меня началось со случайности, с одной совершенно случайной случайности, которая в высшей степени могла быть и могла не быть, — какой? Гм, я думаю, тоже нечего говорить. Все это, и слухи и случайности, совпало у меня тогда в одну мысль. Признаюсь откровенно, потому если уж признаваться, так во всем, — это я первый на вас тогда и напал. Эти, там, положим, старухины отметки на вещах и прочее и прочее — все это вздор-с. Таких штук сотню можно начесть. Имел я тоже случай тогда до

подробности разузнать о сцене в конторе квартала, тоже случайно-с, и не то чтобы так, мимоходом, а от рассказчика особенного, капитального, который, и сам того не ведая, удивительно эту сцену осилил. Все ведь это одно к одному-с, одно к одному-с, Родион Романыч, голубчик! Ну как тут было не повернуться в известную сторону? Из ста кроликов никогда не составитя лошадь, из ста подозрений никогда не составитя доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следовательно человек-с. Вспомнил тут я и вашу статейку, в журнальце-то, помните, еще в первое-то ваше посещение в подробности о ней-то говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романыч. Что вы смелы, заносчивы, серьезны и... чувствовали, много уж чувствовали, все это я давно уже знал-с... Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонные ночи и в иступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. [Дым, туман, струна звенит в тумане.](#) Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния; она мрачная статья-с, да это хорошо-с. Статейку вашу я прочел, да и отложил, и... как отложил ее тогда, да и подумал: «Ну, с этим человеком так не пройдет!» Ну, так как же, скажите, теперь, после такого предыдущего не увлечься было последующим! Ах, господи! да разве я говорю что-нибудь? Разве я что-нибудь теперь утверждаю? Я тогда только заметил. Чего тут, думаю? Тут ничего, то есть ровно ничего, и, может быть, в высшей степени ничего. Да и увлекаться этак мне, следовательно, совсем даже неприлично: у меня вон Миколка на руках, и уже с фактами, — там как хотите, а факты! И тоже свою психологию подводит; им надо позаняться; потому, тут дело жизни и смерти. Для чего я вам теперь все это объясняю? А чтобы вы знали и с вашим умом и сердцем не обвинили меня за мое злобное тогдашнее поведение. Не злобное-с, искренно говорю-с, хе-хе! Вы что думаете: я у вас тогда не был с обыском? Был-с, был-с, хе-хе, был-с, когда вы вот здесь больной в постельке лежали. Не официально и не своим лицом, а был-с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено, по первым даже следам; но — umsonst!<sup>1</sup> Думаю: теперь этот человек придет, сам придет, и очень скоро; коль виноват, так уж непременно придет. Другой не придет, а этот придет. А помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроили с тем, чтобы вас взволновать, потому мы нарочно и пустили слух, чтоб он вам проговаривался, а господин Разумихин такой человек, что негодования не выдержит. Господину Заметову прежде всего ваш гнев и ваша открытая смелость в глаза бросилась: ну, как это в трактире вдруг брякнуть: «Я убил!» Слишком смело-с, слишком дерзко-с, и если, думаю, он виновен, то это страшный боец! Так тогда и подумал-с. Жду-с! Жду вас из всех сил, а Заметова вы тогда просто придавили и... ведь в том-то и штука, что вся эта проклятая психология о двух концах! Ну, так жду я вас, смотрю, а вас бог и дает — идете! Так у меня и стукнуло сердце. Эх! Ну, зачем вам было тогда приходить? Смех-то, смех-то ваш, как вошли тогда, помните, ведь вот точно сквозь стекло я все тогда угадал, а не жди я вас таким особенным образом, и в смехе вашем ничего бы не заметил. Вот оно что значит в настроении-то быть. И господин-то Разумихин тогда, — ах! камень-то, камень-то, помните, камень-то, вот еще под которым вещи-то спрятаны? Ну, вот точно вижу его, где-нибудь там, в огороде, — в огороде ведь говорили вы, Заметову-то, а потом у меня-то, во второй раз? А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать — так вот каждое-то слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним сидит! Ну вот, Родион Романыч, таким-то вот образом я и дошел до последних столбов, да как стукнулся лбом, и опомнился. Нет, говорю, что это я! Ведь если захотеть, то все это, говорю, до последней черты можно в другую сторону объяснить, даже еще натуральнее выйдет. Мука-с! «Нет, думаю, мне бы уж лучше черточку!...» Да как



услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже так и замер, даже дрожь прохватила. «Ну, думаю, вот она черточка и есть! Оно!» Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел. Тысячу бы рублей в ту минуту я дал, своих собственных, чтобы только на вас *в свои глаза* посмотреть: как вы тогда сто шагов с мещаниншкой рядом шли, после того как он вам «убийцу» в глаза сказал, и ничего у него, целых сто шагов, спросить не посмели!.. Ну, а холод-то этот в спинном мозгу? Колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то? Итак, Родион Романыч, что ж вам после того и удивляться, что я с вами тогда такие шутки шутил? И зачем вы сами в ту самую минуту пришли? Ведь и вас кто-то как будто подталкивал, ей-богу, а если бы не развел нас Миколка, то... а Миколку-то тогда помните? Хорошо запомнили? Ведь это был гром-с! Ведь это гром грянул из тучи, громовая стрела! Ну, а как я его встретил? Стреле-то вот ни на столечко не поверил, сами изволили видеть! Да куда! Уж потом, после вас, когда он стал весьма и весьма складно на иные пункты отвечать, так что я сам удивился, и потом ему ни на грош не поверил! Вот что значит укрепился, как [адамант](#). Нет, думаю, [морген фри](#)! какой уж тут Миколка!

— Мне Разумихин сейчас говорил, что вы и теперь обвиняете Николая и сами Разумихина в том уверяли...

Дух у него захватило, и он не закончил. Он слушал в невыразимом волнении, как человек, насквозь его раскусивший, от самого себя отрекался. Он боялся поверить и не верил. В двусмысленных еще словах он жадно искал и ловил чего-нибудь более точного и окончательного.

— Господин-то Разумихин! — вскричал Порфирий Петрович, точно обрадовавшись вопросу все молчавшего Раскольникова, — хе! хе! хе! Да господина Разумихина так и надо было прочь отвести: двоим любо, третий не суйся. Господин Разумихин не то-с, да и человек посторонний, прибежал ко мне весь такой бледный... Ну, да бог с ним, что его сюда мешать! А насчет Миколки угодно ли вам знать, что это за сюжет, в том виде, как, то есть, я его понимаю? Перво-наперво это еще дитя несовершеннолетнее, и не то чтобы трус, а так, вроде как бы художника какого-нибудь. Право-с, вы не смейтесь, что я так его изъясняю. Невинен и ко всему восприимчив. Сердце имеет; фантаст. Он и петь, он и плясать, он и сказки, говорят, так рассказывает, что из других мест сходятся слушать. И в школу ходить, и хохотать до упаду оттого, что пальчик покажут, и пьянствовать до бесчувствия, не то чтоб от разврата, а так, полосами, когда напоят, по-детски еще. Он тогда вот и украл, а и сам этого не знает; потому «коли на земле поднял, что за украл?» А известно ли вам, что он из раскольников, да и не то чтоб из раскольников, а просто сектант; у него в роде [бегуны](#) бывали, и сам он еще недавно целых два года в деревне у некоего старца под духовным началом был. Все это я от Миколки и от зарайских его узнал. Да куды! просто в пустыню бежать хотел! Рвение имел, по ночам Богу молился, книги старые, «истинные», читал и зачитывался. Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну, и вино. Восприимчив-с, и старца и все забыл. Известно мне, его художник один здесь полюбил, к нему ходить стал, да вот этот случай и подошел! Ну, обробел — вешаться! Бежать! Что ж делать с понятием, которое прошло в народе о нашей [юрисдикции](#)! Иному ведь страшно слово «засудят». Кто виноват! Вот что-то новые суды скажут. Ох, дал бы бог! Ну-с; в остроге-то и вспомнился, видно, теперь честной старец; Библия тоже явилась опять. Знаете ли, Родион Романыч, что значит у иных из них «пострадать»? Это не то чтобы за кого-нибудь, а так просто «пострадать надо»; страдание, значит, принять, а от властей — так тем паче. Сидел в мое время один смиреннейший арестант целый год в остроге, на печи по ночам все Библию читал, ну и зачитался, да зачитался, знаете, совсем, да так, что ни с того ни с сего сгреб кирпич и кинул в начальника, безо всякой обиды с его стороны. Да и как кинул-то: нарочно на аршин мимо взял, чтобы какого вреда не произвести! Ну, известно, какой конец арестанту, который с оружием кидается на начальство: и «принял, значит, страдание». Так вот, я и подозреваю теперь, что Миколка хочет «страдание принять» или вроде того. Это я наверно, даже по фактам, знаю-с. Он только сам не знает, что я знаю. Что, не допускаете, что ли, чтоб из

такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь. Старец теперь опять начал действовать, особенно после петли-то припомнился. А впрочем, сам мне все расскажет, придет. Вы думаете, выдержит? Подождите, еще отопрется! С часу на час жду, что придет от показания отказываться. Я этого Миколку полюбил и его досконально исследую. И как бы вы думали! Хе! хе! на иные-то пункты весьма складно мне отвечал, очевидно, нужные сведения получил, ловко приготовился; ну а по другим пунктам просто как в лужу, ничегошечко не знает, не ведает, да и сам не подозревает, что не ведает! Нет, батюшка Родион Романыч, тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитруется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, — решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес. Мало было ему, что муку вынес, когда за дверью сидел, а в дверь ломились и колокольчик звонил, — нет, он потом уж на пустую квартиру, в полубреде, припомнить этот колокольчик идет, холоду спинного опять испытать потребовалось... Ну, да это, положим, в болезни, а то вот еще: убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит, — нет, уж какой тут Миколка, голубчик Родион Романыч, тут не Миколка!

Эти последние слова, после всего прежде сказанного и так похожего на отречение, были слишком уж неожиданны. Раскольников весь задрожал, как будто пронзенный.

— Так... кто же... убил?.. — спросил он, не выдержав, задышающимся голосом. Порфирий Петрович даже отшатнулся на спинку стула, точно уж так неожиданно и он был изумлен вопросом.

— Как кто убил?.. — переговорил он, точно не веря ушам своим, — да *вы* убили, Родион Романыч! Вы и убили-с... — прибавил он почти шепотом, совершенно убежденным голосом.

Раскольников вскочил с дивана, постоял было несколько секунд и сел опять, не говоря ни слова. Мелкие конвульсии вдруг прошли по всему его лицу.

— Губка-то опять, как и тогда, вздрагивает, — пробормотал как бы даже с участием Порфирий Петрович. — Вы меня, Родион Романыч, кажется, не так поняли-с, — прибавил он, несколько помолчав, — оттого так и изумились. Я именно пришел с тем, чтоб уже все сказать и дело повести на открытую.

— Это не я убил, — прошептал было Раскольников, точно испуганные маленькие дети, когда их захватывают на месте преступления.

— Нет, это вы-с, Родион Романыч, вы-с, и некому больше-с, — строго и убежденно прошептал Порфирий.

Они оба замолчали, и молчание длилось даже до странности долго, минут с десять. Раскольников облокотился на стол и молча ерошил пальцами свои волосы. Порфирий Петрович сидел смирно и ждал. Вдруг Раскольников презрительно посмотрел на Порфирия.

— Опять вы за старое, Порфирий Петрович! Все за те же ваши приемы: как это вам не надоест в самом деле?

— Э, полноте, что мне теперь приемы! Другое бы дело, если бы тут находились свидетели; а то ведь мы один на один шепчем. Сами видите, я не с тем к вам пришел, чтобы гнать и ловить вас, как зайца. Признаетесь аль нет — в эту минуту мне все равно. Про себя-то я и без вас убежден.

— А коли так, зачем вы пришли? — раздражительно спросил Раскольников. — Я вам прежний вопрос задаю: если вы меня виновным считаете, зачем не берете вы меня в острог?

— Ну, вот это вопрос! По пунктам вам и ответу: во-первых, взять вас так прямо под

арест мне невыгодно.

— Как невыгодно! Коли вы убеждены, так вы должны...

— Эх, что ж, что я убежден? Ведь все это покамест мои мечты-с. Да и что я вас *на покой-то* туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Приведу я, например, уличать вас мешанинишку, а вы ему скажете: «Ты пьян аль нет? Кто меня с тобой видел? Я тебя просто за пьяного и принимал, да ты и был пьян», — ну, что я вам тогда на это скажу, тем паче что ваше-то еще правдоподобнее, чем его, потому что в его показании одна психология, — что его рылу даже и неприлично, — а вы-то в самую точку попадете, потому что пьет, мерзавец, горькую и слишком даже известен. Да и сам я вам откровенно признавался, уже несколько раз, что психология эта о двух концах и что второй-то конец больше будет, да и гораздо правдоподобнее, а что, кроме этого, против вас у меня пока и нет ничего. И хоть я вас все-таки посажу и даже сам вот я пришел (совсем не по-людски) вам обо всем вперед объявить, а все-таки прямо вам говорю (тоже не по-людски), что мне это будет невыгодно. Ну-с, во-вторых, я потому к вам пришел...

— Ну да, во-вторых? (Раскольников все еще задыхался.)

— Потому что, как я уж и объявил давеча, считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали, тем паче что искренно к вам расположен, верьте не верьте. Вследствие чего, в-третьих, и пришел к вам с открытым и прямым предложением — учинить явку с повинною. Это вам будет бесчисленно выгоднее, да и мне тоже выгоднее, — потому с плеч долой. Ну что, откровенно или нет с моей стороны?

Раскольников подумал с минуту.

— Послушайте, Порфирий Петрович, вы ведь сами говорите: одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь ошибаетесь?

— Нет, Родион Романыч, не ошибаюсь. Черточку такую имею. Черточку-то эту я тогда ведь нашел-с; послал Господь!

— Какую черточку?

— Не скажу какую, Родион Романыч. Да и, во всяком случае, теперь и права не имею больше отсрочивать; посажу-с. Так вы рассудите: мне *теперь* уж все равно, а следственно, я единственно только для вас. Ей-богу, лучше будет, Родион Романыч!

Раскольников злобно усмехнулся.

— Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Ну, будь я даже виновен (чего я вовсе не говорю), ну, с какой стати мне к вам являться с повинною, когда сами вы уже говорите, что я сяду к вам туда *на покой*?

— Эх, Родион Романыч, не совсем словам верьте; может, и не совсем будет *на покой*! Ведь это только теория, да еще моя-с, а я вам что за авторитет? Я, может быть, и сам от вас кой-что даже и теперь скрываю-с. Не все же мне вам так взять да и выложить, хе! хе! Второе дело: как какая выгода? Да известно ли вам, какая вам за это воспоследует сбавка? Ведь вы когда явитесь-то, в какую минуту? Вы это только рассудите! Когда другой уже на себя преступление принял и все дело спутал? А я вам, вот самим Богом клянусь, так «там» подделаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданная. Всю эту психологию мы совсем уничтожим, все подозрения на вас в ничто обращу, так что ваше преступление вроде помрачения какого-то представится, потому, по совести, оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романыч, и свое слово сдержу.

Раскольников грустно замолчал и поник головой; он долго думал и, наконец, опять усмехнулся, но улыбка его была уже кроткая и грустная.

— Эх, не надо! — проговорил он, как бы уже совсем не скрываясь с Порфирием. — Не стоит! Не надо мне совсем вашей сбавки!

— Ну, вот этого-то я и боялся! — горячо и как бы невольно воскликнул Порфирий, — вот этого-то я и боялся, что не надо вам нашей сбавки.

Раскольников грустно и внушительно поглядел на него.

— Эй, жизнью не брезгайте! — продолжал Порфирий, — много ее впереди еще будет. Как не надо сбавки, как не надо! Нетерпеливый вы человек!

— Чего впереди много будет?

— Жизни! Вы что за пророк, много ль вы знаете? Ищите и обрящете. Вас, может, Бог на этом и ждал. Да и не навек она, цепь-то...

— Сбавка будет... — засмеялся Раскольников.

— А что, стыда буржуазного, что ли, испугались? Это может быть, что и испугались, да сами того не знаете, — потому молодо! А все-таки не вам бы бояться али там стыдиться явки с повинною.

— Э-эх, наплевать! — презрительно и с отвращением прошептал Раскольников, как бы и говорить не желая. Он было опять привстал, точно хотел куда-нибудь выйти, но опять сел в видимом отчаянии.

— То-то наплевать! Изверились, да и думаете, что я вам грубо льщу; да много ль вы еще и жили-то? Много ль понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось, что уж очень не оригинально вышло! Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец! По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, — если только веру иль Бога найдет. Ну, и найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страданья хочет. Знаю, что не веруется, — а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почему знаю? Я только верую, что вам еще много жить. Знаю, что вы слова мои как рацею теперь принимаете заученную; да, может, после вспомните, пригодится когда-нибудь; для того и говорю. Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще Бога, может, надо благодарить; почему вы знаете: может, вас Бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. Великого предстоящего исполнения-то трусили? Нет, тут уж стыдно трусить. Коли сделали такой шаг, так уж крепитесь. Тут уж справедливость. Вот исполните-ка, что требует справедливость. Знаю, что не веруете, а, ей-богу, жизнь вынесет. Самому после слюбится. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!

Раскольников даже вздрогнул.

— Да вы-то кто такой, — вскричал он, — вы-то что за пророк? С высоты какого это спокойствия величавого вы мне премудрствующие пророчества изрекаете?

— Кто я? Я поконченный человек; больше ничего. Человек, пожалуй, чувствующий и сочувствующий, пожалуй, кой-что и знающий, но уж совершенно поконченный. А вы — другая статья: вам Бог жизнь приготовил (а кто знает, может, и у вас так только дымом пройдет, ничего не будет). Ну что ж, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть, вам-то с вашим-то сердцем? Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем. Вы чего опять улыбаетесь: что я такой Шиллер? И бьюсь об заклад, предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь! А что ж, может быть, и в самом деле подольщаюсь, хе! хе! хе! Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне, — это уж такой мой норов, согласен; только вот что прибавлю: насколько я низкий человек и насколько я честный, сами, кажется, можете рассудить!

— Вы когда меня думаете арестовать?

— Да денька полтора али два могу еще дать вам погулять. Подумайте-ка, голубчик, помолитесь-ка Богу. Да и выгоднее, ей-богу, выгоднее.

— А ну, как я убегу? — как-то странно усмехаясь, спросил Раскольников.

— Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит — лакей чужой мысли, — потому ему только кончик пальчика показать, как [мичману Дырке](#), так он на всю жизнь во что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите, — с чем же вы

убежите? Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положения определенного, воздуха соответственного, ну а ваш ли там воздух? Убежите и сами воротитесь. *Без нас вам нельзя обойтись.* А засади я вас в тюремный-то замок — ну месяц, ну два, ну три посидите, а там вдруг и, помяните мое слово, сами и явитесь, да еще как, пожалуй, себе самому неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинною. Я даже вот уверен, что вы «страданье надумаетесь принять»; мне-то на слово теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страданье, Родион Романыч, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, в страдании есть идея. Миколка-то прав. Нет, не убежите, Родион Романыч.

Раскольников встал с места и взял фуражку. Порфирий Петрович тоже встал.

— Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А впрочем, и лучше, кабы освежило...

Он тоже взялся за фуражку.

— Вы, Порфирий Петрович, пожалуйста, не заберите себе в голову, — с суровой настойчивостью произнес Раскольников, — что я вам сегодня сознался. Вы человек странный, и слушал я вас из одного любопытства. А я вам ни в чем не сознался... Запомните это.

— Ну, да уж знаю, запомню, — ишь ведь, даже дрожит. Не беспокойтесь, голубчик; ваша воля да будет. Погуляйте немножко; только слишком-то уж много нельзя гулять. На всякий случай есть у меня и еще к вам просьбица, — прибавил он, понизив голос, — щекотливенькая она, а важная: если, то есть на всякий случай (чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным), если бы на случай, — ну так, на всякий случай, — пришла бы вам охота в эти сорок — пятьдесят часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом — ручки этак на себя поднять (предположение нелепое, ну да уж вы мне его простите), то — оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Так, две строчки, две только строчечки, и об камне упомяните: благороднее будет-с. Ну-с, до свидания... Добрых мыслей, благих начинаний!

Порфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Раскольников подошел к окну и с раздражительным нетерпением выжидал время, когда, по расчету, тот выйдет на улицу и отойдет подальше. Затем поспешно вышел и сам из комнаты.

### III

Он спешил к Свидригайлову. Чего он мог надеяться от этого человека — он и сам не знал. Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним. Сознав это раз, он уже не мог успокоиться, а теперь к тому же и пришло время.

Дорогой один вопрос особенно мучил его: был ли Свидригайлов у Порфирия?

Сколько он мог судить и в чем бы он присягнул — нет, не был! Он подумал еще и еще, припомнил все посещение Порфирия, сообразил: нет, не был, конечно, не был!

Но если не был еще, то пойдет или не пойдет он к Порфирию?

Теперь покамест ему казалось, что не пойдет. Почему? Он не мог бы объяснить и этого, но если б и мог объяснить, то теперь он бы не стал над этим особенно ломать голову. Все это его мучило, и в то же время ему было как-то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, — о нем же самом и не о ком другом, но что-то другое, что-то главное. К тому же он чувствовал беспредельную нравственную усталость, хотя рассудок его в это утро работал лучше, чем во все эти последние дни.

Да и стоило ль теперь, после всего, что было, стараться побеждать все эти новые мизерные затруднения? Стоило ль, например, стараться интриговать, чтобы Свидригайлов не ходил к Порфирию; изучать, разузнавать, терять время на какого-нибудь

Свидригайлова!

О, как ему все это надоело!

А между тем он все-таки спешил к Свидригайлову; уж не ожидал ли он чего-нибудь от него *нового*, указаний, выхода? И за соломинку ведь хватаются! Не судьба ль, не инстинкт ли какой сводит их вместе? Может быть, это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов только так тут подвернулся. Соня? Да и зачем бы он пошел теперь к Соне? Опять просить у нее ее слез? Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены. Тут — или ее дорога, или его. Особенно в эту минуту он не в состоянии был ее видеть. Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова: что это такое? И он не мог не сознаться внутри, что и действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен.

Ну, однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был неприятен, очевидно чрезвычайно развратен, непременно хитер и обманчив, может быть очень зол. Про него ходят такие рассказы. Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны; но кто знает, для чего и что это означает? У этого человека вечно какие-то намерения и проекты.

Мелькала постоянно во все эти дни у Раскольникова еще одна мысль и страшно его беспокоила, хотя он даже старался прогонять ее от себя, так она была тяжела для него! Он думал иногда: Свидригайлов все вертелся около него, да и теперь вертится; Свидригайлов узнал его тайну; Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А если и теперь имеет? Почти наверное можно сказать, что *да*. А если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?

Мысль эта иногда, даже во сне, мучила его, но в первый еще раз она явилась ему так сознательно ярко, как теперь, когда он шел к Свидригайлову. Одна уже мысль эта приводила его в мрачную ярость. Во-первых, тогда уже все изменится, даже в его собственном положении: следует тотчас же открыть тайну Дунечке. Следует, может быть, предать самого себя, чтоб отвлечь Дунечку от какого-нибудь неосторожного шага. Письмо? Нынче утром Дуня получила какое-то письмо! От кого в Петербурге могла бы она получать письма? (Лужин разве?) Правда, там стережет Разумихин; но Разумихин ничего не знает. Может быть, следует открыться и Разумихину? Раскольников с омерзением подумал об этом.

Во всяком случае, Свидригайлова надо увидеть как можно скорее, решил он про себя окончательно. Слава богу, тут не так нужны подробности, сколько сущность дела; но если, если только способен он, если Свидригайлов что-нибудь интригует против Дуни, — то...

Раскольников до того устал за все это время, за весь этот месяц, что уже не мог разрешать теперь подобных вопросов иначе как только одним решением. «Тогда я убью его», — подумал он в холодном отчаянии. Тяжелое чувство сдавило его сердце; он остановился посредине улицы и стал осматриваться: по какой дороге он идет и куда он зашел? Он находился на —ском проспекте, шагах в тридцати или в сорока от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настежь; трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенники, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел пойти назад, недоумевая, зачем он повернул на —ский проспект, как вдруг, в одном из крайних отворенных окон трактира, увидел сидевшего у самого окна, за чайным столом, с трубкою в зубах, Свидригайлова. Это страшно, до ужаса поразило его. Свидригайлов наблюдал и рассматривал его молча и, что тоже тотчас же поразило Раскольникова, кажется, хотел было встать, чтобы потихоньку успеть уйти, пока его не заметили. Раскольников тотчас сделал вид, что как будто и сам не заметил его и смотрит, задумавшись, в сторону, а сам продолжал его наблюдать краем глаза. Сердце его тревожно билось. Так и есть: Свидригайлов, очевидно, не хочет, чтоб его видели. Он отвел от губ трубку и уже хотел спрятаться; но, поднявшись

и отодвинув стул, вероятно, вдруг заметил, что Раскольников его видит и наблюдает. Между ними произошло нечто похожее на сцену их первого свидания у Раскольникова во время сна. Плутовская улыбка показалась на лице Свидригайлова и все более расширялась. И тот и другой знали, что оба видят и наблюдают друг друга. Наконец Свидригайлов громко расхохотался.

— Ну, ну! входите уж, коли хотите; я здесь! — крикнул он из окна.

Раскольников поднялся в трактир.

Он нашел его в очень маленькой задней комнате, в одно окно, примыкавшей к большой зале, где на двадцати маленьких столиках, при криках отчаянного хора песенников, пили чай купцы, чиновники и множество всякого люда. Откуда-то долетал стук шаров на бильярде. На столике перед Свидригайловым стояла початая бутылка шампанского и стакан, до половины полный вина. В комнатке находились еще мальчик-шарманщик, с маленьким ручным органчиком, и здоровая, краснощекая девушка в подтыканной полосатой юбке и в тирольской шляпке с лентами, певица, лет восемнадцати, которая, несмотря на хоровую песню в другой комнате, пела под аккомпанемент органчика, довольно сильным контральто, какую-то лакейскую песню...

— Ну и довольно! — прервал ее Свидригайлов при входе Раскольникова.

Девушка тотчас же оборвала и остановилась в почтительном ожидании. Пела она свою рифмованную лакейшину тоже с каким-то серьезным и почтительным оттенком в лице.

— Эй, Филипп, стакан! — крикнул Свидригайлов.

— Я не стану пить вина, — сказал Раскольников.

— Как хотите, я не для вас. Пей, Катя! Сегодня ничего больше не понадобится, ступай! — Он налил ей целый стакан вина и выложил желтенький билетик. Катя выпила стакан разом, как пьют вино женщины, то есть не отрываясь, в двадцать глотков, взяла билетик, поцеловала у Свидригайлова руку, которую тот весьма серьезно допустил поцеловать, и вышла из комнаты, а за нею потащился и мальчишка с органом. Оба они были приведены с улицы. Свидригайлов и недели не жил в Петербурге, а уж все около него было на какой-то патриархальной ноге. Трактирный лакей, Филипп, тоже был уже «знакомый» и подобострастничал. Дверь в залу запиралась; Свидригайлов в этой комнате был как у себя и проводил в ней, может быть, целые дни. Трактир был грязный, дрянной и даже не средней руки.

— Я к вам шел и вас отыскивал, — начал Раскольников, — но почему теперь я вдруг поворотил на —ский проспект с Сенной! Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваю с Сенной направо. Да и дорога к вам не сюда. Только поворотил, вот и вы! Это странно!

— Зачем же вы прямо не скажете: это чудо!

— Потому что это, может быть, только случай!

— Ведь какая складка у всего этого народа! — захохотал Свидригайлов, — не сознается, хоть бы даже внутри и верил чуду! Ведь уж сами говорите, что «может быть» только случай. И какие здесь всё трусишки насчет своего собственного мнения, вы представить себе не можете, Родион Романович! Я не про вас. Вы имеете собственное мнение и не трусились иметь его. Тем-то вы и завлекли мое любопытство.

— Больше ничем?

— Да и этого ведь довольно.

Свидригайлов был, очевидно, в возбужденном состоянии, но всего только на капельку; вина выпил он всего только полстакана.

— Мне кажется, вы пришли ко мне раньше, чем узнали о том, что я способен иметь то, что вы называете собственным мнением, — заметил Раскольников.

— Ну, тогда было дело другое. У всякого свои шаги. А насчет чуда скажу вам, что вы, кажется, эти последние два-три дня проспали. Я вам сам назначил этот трактир, и никакого тут чуда не было, что вы прямо пришли; сам растолковал всю дорогу, рассказал место, где он стоит, и часы, в которые можно меня здесь застать. Помните?

— Забыл, — отвечал с удивлением Раскольников.

— Верю. Два раза я вам говорил. Адрес отчеканился у вас в памяти механически. Вы и повернули сюда механически, а между тем строго по адресу, сами того не зная. Я, и говоря-то вам тогда, не надеялся, что вы меня поняли. Очень уж вы себя выдаете, Родион Романович. Да вот еще: я убежден, что в Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если б у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния! Между тем это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем. Но не в том теперь дело, а в том, что я уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому — еще держите голову прямо. С двадцати шагов вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите и, очевидно, ни перед собою, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой, причем иногда вы высвобождаете руку и декламируете, наконец останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо-с. Может быть, вас кое-кто и замечает, кроме меня, а уж это невыгодно. Мне, в сущности, все равно, и я вас не вылечу, но вы, конечно, меня понимаете.

— А вы знаете, что за мною следят? — спросил Раскольников, пытливо на него взглядывая.

— Нет, ничего не знаю, — как бы с удивлением ответил Свидригайлов.

— Ну, так и оставим меня в покое, — нахмурившись, пробормотал Раскольников.

— Хорошо, оставим вас в покое.

— Скажите лучше, если вы сюда приходите пить и сами мне назначали два раза, чтоб я к вам сюда же пришел, то почему вы теперь, когда я смотрел в окно с улицы, прятались и хотели уйти? Я это очень хорошо заметил.

— Хе! хе! А почему вы, когда я стоял у вас на пороге, лежали на своей софе с закрытыми глазами и притворялись, что спите, тогда как вы вовсе не спали? Я это очень хорошо заметил.

— Я мог иметь... причины... вы сами это знаете...

— И я мог иметь свои причины, хотя вы их и не узнаете.

Раскольников опустил правый локоть на стол, подпер пальцами правой руки снизу свой подбородок и пристально уставился на Свидригайлова. Он рассматривал с минуту его лицо, которое всегда его поражало и прежде. Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску; белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице. Одежда Свидригайлова была щегольская, летняя, легкая, в особенности щеголял он бельем. На пальце был огромный перстень с дорогим камнем.

— Да неужели же мне и с вами еще тоже надо возиться, — сказал вдруг Раскольников, выходя с судорожным нетерпением прямо на открытую, — хотя вы, может быть, и самый опасный человек, если захотите вредить, да я-то не хочу ломать себя больше. Я вам покажу сейчас, что не так дорожу собою, как вы, вероятно, думаете. Знайте же, я пришел к вам прямо сказать, что если вы держите свое прежнее намерение насчет моей сестры и если для этого думаете чем-нибудь воспользоваться из того, что открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем вы меня в острог посадите. Мое слово верно: вы знаете, что я сумею сдержать его. Второе, если хотите мне что-нибудь объявить, — потому что мне все это время казалось, что вы как будто хотите мне что-то сказать, — то объявляйте скорее, потому что время дорого и, может быть, очень скоро будет уже поздно.

— Да куда вы это так торопитесь? — спросил Свидригайлов, любопытно его разглядывая.



— У всякого свои шаги, — мрачно и нетерпеливо проговорил Раскольников.

— Вы сами же вызывали сейчас на откровенность, а на первый же вопрос и отказываетесь отвечать, — заметил Свидригайлов с улыбкой. — Вам все кажется, что у меня какие-то цели, а потому и глядите на меня подозрительно. Что ж, это совершенно понятно в вашем положении. Но как я ни желаю сойтись с вами, я все-таки не возьму на себя труда разуверять вас в противном. Ей-богу, игра не стоит свеч, да и говорить-то с вами я ни о чем таком особенном не намеревался.

— Зачем же я тогда вам так понадобился? Ведь вы же около меня ухаживали?

— Да просто как любопытный субъект для наблюдения. Мне понравились вы фантастичностью вашего положения — вот чем! Кроме того, вы брат особы, которая меня очень интересовала, и, наконец, от самой этой особы в свое время я ужасно много и часто слышал о вас, из чего и заключил, что вы имеете над нею большое влияние; разве этого мало? Хе-хе-хе! Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен, и мне трудно на него вам ответить. Ну вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того что по делу, а за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутовской улыбкой, — ну представьте же себе после этого, что я сам-то, еще ехав сюда, в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь *новенького* и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи!

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю чем? Видите, в каком трактиришке все время просиживаю, и это мне всласть, то есть не то чтобы всласть, а так, надо же где-нибудь сесть. Ну, вот хоть эта бедная Катя — видели?.. Ну, был я, например, хоть обжора, клубный гастрон, а то ведь вот что могу есть! (Он ткнул пальцем в угол, где на маленьком столике на жестяном блюде стояли остатки ужасного бифштекса с картофелем.) Кстати, обедали вы? Я перекусил и больше не хочу. Вина, например, совсем не пью. Кроме шампанского, никакого, да и шампанского-то в целый вечер один стакан, да и то голова болит. Это я теперь, чтобы подмонтировать, велел подать, потому что я куда-то собираюсь, и вы видите меня в особом расположении духа. Я потому давеча и спрятался, как школьник, что думал, что вы мне помешаете; но, кажется (он вынул часы), могу пробыть с вами час; теперь половина пятого. Верите ли, хотя бы что-нибудь было; ну помещиком быть, ну отцом, ну уланом, фотографом, журналистом... н-ничего, никакой специальности! Иногда даже скучно. Право, думал, что вы мне скажете что-нибудь новенького.

— Да кто вы такой и зачем вы сюда приехали?

— Я кто такой? Вы знаете: дворянин, служил два года в кавалерии, потом здесь в Петербурге шлялся, потом женился на Марфе Петровне и жил в деревне. Вот моя биография!

— Вы, кажется, игрок?

— Нет, какой я игрок. Шулер — не игрок.

— А вы были шулером?

— Да, был шулером.

— Что же, вас бивали?

— Случалось. А что?

— Ну, стало быть, вызвать на дуэль могли... да и вообще оживляет.

— Не противоречу вам и притом не мастер я философствовать. Признаюсь вам, я сюда больше насчет женщин поскорее приехал.

— Только что похоронили Марфу Петровну?

— Ну да, — улыбнулся с побеждающею откровенностью Свидригайлов. — Так что ж? Вы, кажется, находите что-то дурное, что я о женщинах так говорю?

— То есть нахожу я или нет дурное в разврате?

— В разврате! Ну вот вы куда! А впрочем, по порядку, прежде отвечу вам насчет женщины вообще; знаете, я расположен болтать. Скажите, для чего я буду себя

сдерживать? Зачем же бросать женщин, коли я хоть до них охотник? По крайней мере, занятие.

— Так вы здесь только на разврат один и надеетесь!

— Ну так что ж, ну и на разврат! Дался им разврат. Да люблю, по крайней мере, прямой вопрос. В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с годами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде?

— Чему же тут радоваться? Это болезнь, и опасная.

— А, вот вы куда? Я согласен, что это болезнь, как и все переходящее через меру, — а тут непременно придется перейти через меру, — но ведь это, во-первых, у одного так, у другого иначе, а во-вторых, разумеется, во всем держи меру, расчет, хоть и подлый, но что же делать? Не будь этого, ведь этак застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Я согласен, что порядочный человек обязан скучать, но ведь однако ж...

— А вы могли бы застрелиться?

— Ну вот! — с отвращением отпарировал Свидригайлов, — сделайте одолжение, не говорите об этом, — прибавил он поспешно и даже без всякого фанфаронства, которое выказывалось во всех прежних его словах. Даже лицо его как будто изменилось. — Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать: боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти?

— А! призраки Марфы Петровны! Что ж, приходится продолжать?

— Ну их, не поминайте; в Петербурге еще не было; да и черт с ними! — вскричал он с каким-то раздражительным видом. — Нет, будемте лучше об этом... да, впрочем... Гм! Эх, мало времени, не могу я с вами долго остаться, а жаль! Было бы что сообщить.

— А что у вас, женщина?

— Да, женщина, так, нечаянный один случай... нет, я не про то.

— Ну, а мерзость всей этой обстановки на вас уже не действует? Уже потеряли силу остановиться?

— А вы и на силу претендуете? Хе-хе-хе! Удивили же вы меня сейчас, Родион Романович, хотя я заранее знал, что это так будет. Вы же толкуете мне о разврате и об эстетике! Вы — Шиллер, вы — идеалист! Все это, конечно, так и должно быть, и надо бы удивляться, если б оно было иначе, но, однако ж, как-то все-таки странно в действительности... Ах, жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный субъект! А кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю.

— Но какой вы, однако же, фанфарон! — с некоторым отвращением произнес Раскольников.

— Ну, ей-богу же, нет! — хохоча, отвечал Свидригайлов, — а впрочем, не спорю, пусть и фанфарон; но ведь почему же и не пофанфаронить, когда оно безобидно. Я семь лет прожил в деревне у Марфы Петровны, а потому, набросившись теперь на умного человека, как вы, — на умного и в высшей степени любопытного, просто рад поболтать, да, кроме того, выпил эти полстакана вина и уже капельку в голову ударило. А главное, существует одно обстоятельство, которое меня очень монтировало, но о котором я... умолчу. Куда же вы? — с испугом спросил вдруг Свидригайлов.

Раскольников стал было вставать. Ему сделалось и тяжело, и душно, и как-то неловко, что он пришел сюда. В Свидригайлове он убедился как в самом пустейшем и ничтожнейшем злодее в мире.

— Э-эх! Посидите, останьтесь, — упрашивал Свидригайлов, — да велите себе принести хоть чаю. Ну посидите, ну, я не буду болтать вздору, о себе то есть. Я вам что-нибудь расскажу. Ну, хотите, я вам расскажу, как меня женщина, говоря вашим слогом, «спасала»? Это будет даже ответом на ваш первый вопрос, потому что особа эта — ваша сестра. Можно рассказывать? Да и время уьем.

— Рассказывайте, но я надеюсь, вы...

— О, не беспокойтесь! Притом же Авдотья Романовна даже и в таком скверном и пустом человеке, как я, может вселить только одно глубочайшее уважение.

#### IV

— Вы знаете, может быть (да я, впрочем, и сам вам рассказывал), — начал Свидригайлов, — что я сидел здесь в долговой тюрьме, по огромному счету, и не имея ни малейших средств в виду для уплаты. Нечего подробничать о том, как выкупила меня тогда Марфа Петровна; знаете ли, до какой степени одурманения может иногда полюбить женщина? Это была женщина честная, весьма неглупая (хотя и совершенно необразованная). Представьте же себе, что эта-то самая ревнивая и честная женщина решила снискать, после многих ужасных исступлений и попреков, на некоторого рода со мною контракт, который и исполняла во все время нашего брака. Дело в том, что она была значительно старше меня, кроме того, постоянно носила во рту какую-то гвоздичку. Я имел несколько свинства в душе и своего рода честности, чтоб объявить ей прямо, что совершенно верен ей быть не могу. Это признание привело ее в исступление, но, кажется, моя грубая откровенность ей в некотором роде понравилась: «Значит, дескать, сам не хочет обманывать, коли заранее так объявляет», — ну а для ревливой женщины это первое. После долгих слез состоялся между нами такого рода изустный контракт: первое, я никогда не оставлю Марфу Петровну и всегда пребуду ее мужем; второе, без ее позволения не отлучусь никуда; третье, постоянной любовницы не заведу никогда; четвертое, за это Марфа Петровна позволяет мне пригласить иногда на сенных девушек, но не иначе как с ее секретного ведома; пятое, боже сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия; шестое, если на случай, чего боже сохрани, меня посетит какая-нибудь страсть, большая и серьезная, то я должен открыться Марфе Петровне. Насчет последнего пункта Марфа Петровна была, впрочем, во все время довольно спокойна; это была умная женщина, а следственно, не могла же на меня смотреть иначе, как на развратника и потаскуна, который серьезно полюбить не в состоянии. Но умная женщина и ревнивая женщина — два предмета разные, и вот в этом-то и беда. Впрочем, чтобы беспристрастно судить о некоторых людях, нужно заранее отказаться от иных предвзятых взглядов и от обыденной привычки к обыкновенно окружающим нас людям и предметам. На ваше суждение, более чем на чье-нибудь, я имею право надеяться. Может быть, вы уже очень много слышали о Марфе Петровне смешного и нелепого. Действительно, у ней были иные весьма смешные привычки; но скажу вам прямо, что я искренно сожалею о бесчисленных горестях, которых я был причиной. Ну, и довольно, кажется, для весьма приличного *raison funèbre*<sup>2</sup> нежнейшей жене нежнейшего мужа. В случаях наших ссор я, большего частию, молчал и не раздражался, и это джентельменничанье всегда почти достигало цели; оно на нее влияло и ей даже нравилось, бывали случаи, что она мною даже гордилась. Но сестрицы вашей все-таки не вынесла. И каким образом это случилось, что она рискнула взять такую раскрасавицу в свой дом, в гувернантки! Я объясняю тем, что Марфа Петровна была женщина пламенная и восприимчивая и что просто-запросто она сама влюбилась, — буквально влюбилась, — в вашу сестрицу. Ну, да и Авдотья-то Романовна! Я очень хорошо понял, с первого взгляда, что тут дело плохо, и — что вы думаете? — решился было и глаз не подымать на нее. Но Авдотья Романовна сама сделала первый шаг — верите или нет? Верите ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на ее непрерывные и влюбленные отзывы об Авдотье Романовне? Сам не понимаю, чего ей хотелось! Ну, уж конечно, Марфа Петровна рассказала Авдотье Романовне обо мне всю подноготную. У нее была несчастная черта — решительно всем рассказывать все наши семейные тайны и всем непрерывно на меня жаловаться; как же было пропустить такого нового и прекрасного друга? Полагаю, что у них и разговору иного не было, как обо мне, и, уж без сомнения, Авдотье Романовне стали известны все

эти мрачные, таинственные сказки, которые мне приписывают... Бьюсь об заклад, что вы уж что-нибудь в этом роде тоже слышали?

— Слышал. Лужин обвинял вас, что вы даже были причиной смерти ребенка. Правда это?

— Сделайте одолжение, оставьте все эти пошлости в покое, — с отвращением и брюзгливо отговорился Свидригайлов, — если вы так непременно захотите узнать обо всей этой бессмыслице, то я когда-нибудь расскажу вам особо, а теперь...

— Говорили тоже о каком-то вашем лакее в деревне и что будто бы вы были тоже чему-то причиной.

— Сделайте одолжение, довольно! — перебил опять с явным нетерпением Свидригайлов.

— Это не тот ли лакей, который вам после смерти трубку приходил набивать... еще сами мне рассказывали? — раздражался все более и более Раскольников.

Свидригайлов внимательно поглядел на Раскольникова, и тому показалось, что во взгляде этом блеснула мгновенно, как молния, злобная усмешка, но Свидригайлов удержался и весьма вежливо отвечал:

— Это тот самый. Я вижу, что вас тоже все это чрезвычайно интересует, и почти за долг, при первом удобном случае, по всем пунктам удовлетворить ваше любопытство. Черт возьми! Я вижу, что действительно могу показаться кому-нибудь лицом романическим. Судите же, до какой степени я обязан после того благодарить покойницу Марфу Петровну за то, что она наговорила вашей сестрице обо мне столько таинственного и любопытного. Не смею судить о впечатлении; но во всяком случае это было для меня выгодно. При всем естественном отвращении ко мне Авдотьи Романовны и несмотря на мой всегдашний мрачный и отталкивающий вид, — ей стало, наконец, жаль меня, жаль пропащего человека. А когда сердцу девушки станет *жаль*, то, уж разумеется, это для нее всего опаснее. Тут уж непременно захочется и «спасти», и образумить, и воскресить, и призвать к более благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности, — ну, известно, что можно наметать в этом роде. Я тотчас же смекнул, что птичка сама летит в сетку, и, в свою очередь, приготовился. Вы, кажется, хмуритесь, Родион Романыч? Ничего-с, дело, как вы знаете, обошлось пустяками. (Черт возьми, сколько я пью вина!) Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-нибудь правителя или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и, уж конечно бы, улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в четвертом и в пятом веках [ушла бы в Египетскую пустыню](#) и жила бы там тридцать лет, питаясь кореньями, восторгами и видениями. Сама она только того и жаждет и требует, чтобы за кого-нибудь какую-нибудь муку поскорее принять, а не дай ей этой муки, так она, пожалуй, и в окно выскочит. Я слышал что-то о каком-то господине Разумихине. Он малый, говорят, рассудительный (что и фамилия его показывает, семинарист, должно быть), ну так пусть и бережет вашу сестру. Одним словом, я, кажется, ее понял, что и считаю себе за честь. Но тогда, то есть в начале знакомства, сами знаете, бываешь всегда как-то легкомысленнее и глупее, смотришь ошибочно, видишь не то. Черт возьми, зачем же она так хороша? Я не виноват! Одним словом, у меня началось с самого неудержимого сладострастного порыва. Авдотья Романовна целомудренна ужасно, неслыханно и невиданно. (Заметьте себе, я вам сообщаю это о вашей сестре как факт. Она целомудренна, может быть, до болезни, несмотря на весь свой широкий ум, и это ей повредит.) Тут у нас случилась одна девушка, [Параша, черноокая Параша](#), которую только что привезли из другой деревни, сенная девушка, и которую я еще никогда не видывал, — хорошенькая очень, но глупа до невероятности: в слезы, подняла вой на весь двор, и вышел скандал. Раз, после обеда, Авдотья Романовна нарочно отыскиала меня одного в аллее в саду и с сверкающими глазами *потребовала* от меня, чтоб я оставил

бедную Парашу в покое. Это было чуть ли не в первый разговор наш вдвоем. Я, разумеется, почел за честь удовлетворить ее желанию, постарался прикинуться пораженным, смущенным, ну, одним словом, сыграл роль недурно. Начались сношения, таинственные разговоры, нравоучения, поучения, упрашивания, умаливания, даже слезы, — верите ли, даже слезы! Вот до какой силы доходит у иных девушек страсть к пропаганде! Я, конечно, все свалил на свою судьбу, прикинулся алчущим и жаждущим света и, наконец, пустил в ход величайшее и незыблемое средство к покорению женского сердца, средство, которое никогда и никого не обманет и которое действует решительно на всех до единой, без всякого исключения. Это средство известное, лесть. Нет ничего в мире труднее прямодушия и нет ничего легче лести. Если в прямодушии только одна сотая доля нотки фальшивая, то происходит тотчас диссонанс, а за ним — скандал. Если же в лести даже все до последней нотки фальшивое, и тогда она приятна и слушается не без удовольствия; хотя бы и с грубым удовольствием, но все-таки с удовольствием. И как бы ни груба была лесть, в ней непременно по крайней мере половина кажется правдою. И это для всех развитий и слоев общества. Даже [весталку](#) можно соблазнить лестью. А уж про обыкновенных людей и говорить нечего. Без смеху не могу себе припомнить, как один раз соблазнял я одну, преданную своему мужу, своим детям и своим добродетелям, барыню. Как это было весело и как мало было работы! А барыня действительно была добродетельна, по крайней мере, по-своему. Вся моя тактика состояла в том, что я просто был каждую минуту раздавлен и падал ниц пред ее целомудрием. Я льстил безбожно, и только что, бывало, добьюсь пожатия руки, даже взгляда, то укоряю себя, что это я вырвал его у нее силой, что она сопротивлялась, что она так сопротивлялась, что я наверное бы никогда ничего не получил, если б я сам не был так порочен; что она, в невинности своей, не предусмотрела коварства и поддалась неумышленно, сама того не зная, не ведая, и прочее и прочее. Одним словом, я достиг всего, а моя барыня оставалась в высшей степени уверена, что она невинна и целомудренна и исполняет все долги и обязанности, а погибла совершенно нечаянно. И как же она рассердилась на меня, когда я объявил ей в конце концов, что, по моему искреннему убеждению, она точно так же искала наслаждений, как и я. Бедная Марфа Петровна тоже ужасно поддавалась на лесть, и если бы только я захотел, то, конечно, отписал бы все ее имение на себя еще при жизни. (Однако я ужасно много пью вина и болтаю.) Надеюсь, что вы не рассердитесь, если я упомяну теперь, что тот же самый эффект начал сбываться и с Авдотьей Романовной. Да я сам был глуп и нетерпелив и все дело испортил. Авдотье Романовне еще несколько раз и прежде (а один раз как-то особенно) ужасно не понравилось выражение глаз моих, верите вы этому? Одним словом, в них все сильнее и неосторожнее вспыхивал некоторый огонь, который пугал ее и стал ей, наконец, ненавистен. Нечего рассказывать подробности, но мы разошлись. Тут я опять сглупил. Пустился грубейшим образом издеваться насчет всех этих пропаганд и обращений; Параша опять выступила на сцену, да и не она одна, — одним словом, начался содом. Ох, если бы вы видели, Родион Романыч, хоть раз в жизни глазки вашей сестрицы так, как они иногда умеют сверкать! Это ничего, что я теперь пьян и вот уже целый стакан вина выпил, я правду говорю; уверяю вас, что этот взгляд мне снился; шелест платья ее я уже, наконец, не мог выносить. Право, я думал, что со мною сделается падучая, никогда не воображал, что могу дойти до такого исступления. Одним словом, необходимо было помириться; но это было уже невозможно. И представьте себе, что я тогда сделал? До какой степени отупения бешенство может довести человека! Никогда не предпринимайте ничего в бешенстве, Родион Романыч. Рассчитывая, что Авдотья Романовна, в сущности, ведь нищая (ах, извините, я не то хотел... но ведь не все ли равно, если выражается то же понятие?), одним словом, живет трудами рук своих, что у ней на содержании и мать и вы (ах, черт, опять морщитесь...), я и решился предложить ей все мои деньги (тысяч до тридцати я мог и тогда осуществить) с тем, чтоб она бежала со мной хоть сюда, в Петербург. Разумеется, я бы тут поклялся в вечной любви, блаженстве и прочее и прочее. Верите ли, я до того тогда врезался, что, скажи она мне:



зарезь или отрави Марфу Петровну и женись на мне, — это тотчас же было бы сделано! Но кончилось все катастрофой, вам уже известно, и сами можете судить, до какого бешенства мог я дойти, узнав, что Марфа Петровна достала тогда этого подлейшего приказного, Лужина, и чуть не смастерила свадьбу, — что, в сущности, было бы то же самое, что и я предлагал. Так ли? Так ли? Ведь так? Я замечаю, что вы что-то очень внимательно стали слушать... интересный молодой человек...

Свидригайлов в нетерпении ударил кулаком по столу. Он покраснелся. Раскольников видел ясно, что стакан или полтора шампанского, которые он выпил, отхлебывая неприметно, глотками, подействовали на него болезненно, — и решился воспользоваться случаем. Свидригайлов был ему очень подозрителен.

— Ну, уж после этого я вполне убежден, что вы и сюда приехали, имея в виду мою сестру, — сказал он Свидригайлову прямо и не скрываясь, чтоб еще более раздражить его.

— Эх, полноте, — как бы спохватился вдруг Свидригайлов, — я ведь вам говорил... и кроме того, ваша сестра терпеть меня не может.

— Да в этом-то и я убежден, что не может, да не в том теперь дело.

— А вы убеждены, что не может? (Свидригайлов прищурился и насмешливо улыбнулся.) Вы правы, она меня не любит; но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум. Вы ручаетесь, что Авдотья Романовна на меня с отвращением смотрела?

— По некоторым словам и словечкам вашим во время вашего рассказа я замечаю, что у вас и теперь свои виды и самые неотлагательные намерения на Дуню, разумеется, подлые.

— Как! У меня вырывались такие слова и словечки? — пренаивно испугался вдруг Свидригайлов, не обратив ни малейшего внимания на эпитет, приданный его намерениям.

— Да они и теперь вырываются. Ну чего вы, например, так боитесь? Чего вы вдруг теперь испугались?

— Я боюсь и пугаюсь? Пугаюсь вас? Скорее вам бояться меня, cher ami<sup>3</sup>. И какая, однако ж, дичь... А впрочем, я охмелел, я это вижу; чуть было опять не проговорился. К черту вино! Эй, воды!

Он схватил бутылку и без церемонии вышвырнул ее за окошко. Филипп принес воды.

— Это все вздор, — сказал Свидригайлов, намачивая полотенце и прикладывая его к голове, — а я вас одним словом могу осадить и все ваши подозрения в прах уничтожить. Знаете ль вы, например, что я женюсь?

— Вы уже это мне и прежде говорили.

— Говорил? Забыл. Но тогда я не мог говорить утвердительно, потому даже невесты еще не видал; я только намеревался. Ну, а теперь у меня уж есть невеста, и дело сделано, и если бы только не дела, неотлагательные, то я бы непременно вас взял и сейчас к ним повез, — потому я вашего совета хочу спросить. Эх, черт! Всего десять минут остается. Видите, смотрите на часы; а впрочем, я вам расскажу, потому это интересная вещь, моя женитьба-то, в своем то есть роде, — куда вы? Опять уходить?

— Нет, я уж теперь не уйду.

— Совсем не уйдете? Посмотрим! Я вас туда свезу, это правда, покажу невесту, но только не теперь, а теперь вам скоро будет пора. Вы направо, я налево. Вы эту Ресслих знаете? Вот эту самую Ресслих, у которой я теперь живу, а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девчонка-то, в воде-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите ли? Ну, так она мне все это состряпала; тебе, говорит, так-то скучно, развлекись время. А я ведь человек мрачный, скучный. Вы думаете, веселый? Нет, мрачный: вреда не делаю, а сижу в углу; иной раз три дня не разговариваю. А Ресслих эта шельма, я вам скажу, она ведь что в уме держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и пустит в оборот; в нашем слою то есть, да повыше. Есть, говорит,

один такой расслабленный отец, отставной чиновник, в кресле сидит и третий год ногами не двигается. Есть, говорит, и мать, дама рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает. Дочь вышла замуж и не навещает, а на руках два маленькие племянника (своих-то мало), да взяли, не кончив курса, из гимназии девочку, дочь свою последнюю, через месяц только что шестнадцать лет минет, значит, через месяц ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали; как это у них смешно; представляюсь: помещик, вдовец, известной фамилии, с такими-то связями, с капиталом, — ну что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну, а ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха! ха! Посмотрели бы вы, как я разговорился с папашей да с мамашей! Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит она, приседает, ну можете себе представить, еще в коротеньком платьице, неразвернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает, как заря (сказали ей, конечно). Не знаю, как вы насчет женских личек, но, по-моему, эти шестнадцать лет, эти детские еще глазки, эта робость и слезинки стыдливости, — по-моему, это лучше красоты, а она еще к тому ж и собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам, и на другой же день, третьего дня то есть, нас и благословили. С тех пор как приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю... Ну, вспыхивает, как заря, а я целую поминутно; мамаша-то, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что так требуется, одним словом, малина! И это состояние теперешнее, жениховое, право, может быть, лучше и мужнего. Тут что называется *la nature et la verite*<sup>4</sup>. Ха! Ха! Я с нею раза два переговаривал — куда не глупа девчонка; иной раз так украдкой на меня взглянет, — ажно прожжет. А знаете, у ней личико вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: бриллиантовый убор один, жемчужный другой да серебряную дамскую туалетную шкатулку — вот какой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у мадонны-то, личико зарделось. Посадил я ее вчера на колени, да, должно быть, уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими ручонками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женой, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только *одно мое уважение* и более мне, говорит, «ничего, ничего не надо, никаких подарков!». Согласитесь сами, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? Ну, ведь стоит? Ну... ну слушайте... ну, поедemте к моей невесте... только не сейчас!

— Одним словом, в вас эта чудовищная разница лет и развитий и возбуждает сладострастие! И неужели вы в самом деле так женитесь?

— А что ж? Непременно. Всяк об себе сам промышляет и всех веселей тот и живет, что всех лучше себя сумеет надуть. Ха! ха! Да что вы в добродетель-то так всем дышлом въехали? Пощадите, батюшка, я человек грешный. Хе! хе! хе!

— Вы, однако ж, пристроили детей Катерины Ивановны. Впрочем... впрочем, вы имели на это свои причины... я теперь все понимаю.

— Детей я вообще люблю, я очень люблю детей, — захохотал Свидригайлов. — На этот счет я вам могу даже рассказать прелюбопытный один эпизод, который и до сих пор продолжается. В первый же день по приезде пошел я по разным этим клоакам, ну, после семи-то лет так и набросился. Вы, вероятно, замечаете, что я со своею компаниею не спешу сходиться, с прежними-то друзьями и приятелями. Ну, да и как можно дольше без

них протяну. Знаете: у Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках, в которых кто знает, тот много может найти. Черт возьми! Народ пьянствует, молодежь образованная от бездействия перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях; откуда-то жида наехали, прячут деньги, а все остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Попал я на один танцевальный так называемый вечер, — клоак страшный (а я люблю клоаки именно с грязнотой), ну, разумеется, канкан, каких нету и каких в мое время и не было. Да-с, в этом прогресс. Вдруг, смотрю, девочка, лет тринадцати, премило одетая, танцует с одним виртуозом; другой пред ней визави. У стенки же на стуле сидит ее мать. Ну, можете себе представить, каков канкан! Девочка конфузится, краснеет, наконец принимает себе в обиду и начинает плакать. Виртуоз подхватывает ее и начинает ее вертеть и пред нею представлять, все кругом хохочут и — люблю в такие мгновения вашу публику, хотя бы даже и канканную — хохочут и кричат: «И дело, так и надо! А не возить детей!» Ну, мне-то наплевать, да и дела нет: логично аль не логично сами себя они утешают! Я тотчас мое место наметил, подсел к матери и начинаю о том, что я тоже приезжий, что какие всё тут невежи, что они не умеют отличать истинных достоинств и питать достойного уважения; дал знать, что у меня денег много; пригласил довести в своей карете; довел домой, познакомился (в какой-то каморке от жильцов стоят, только что приехали). Мне объявили, что мое знакомство и она, и дочь ее могут принимать не иначе как за честь; узнаю, что у них ни кола, ни двора, а приехали хлопотать о чем-то в каком-то присутствии; предлагаю услуги, деньги; узнаю, что они ошибкой поехали на вечер, думая, что действительно танцевать там учат; предлагаю способствовать с своей стороны воспитанию молодой девицы, французскому языку и танцам. Принимают с восторгом, считают за честь, и до сих пор знаком... Хотите, поедem, — только не сейчас.

— Оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек!

— Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то! *Où va-t-elle la vertu se nicher?*<sup>5</sup> А знаете, я нарочно буду вам этикие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивания. Наслаждение!

— Еще бы, разве я сам себе в эту минуту не смешон? — со злобою пробормотал Раскольников.

Свидригайлов хохотал во все горло; наконец, кликнул Филиппа, расплатился и стал вставать.

— Ну да и пьян же я, *assez causé!*<sup>6</sup> — сказал он, — наслаждение!

— Еще бы вам-то не ощущать наслаждения, — вскрикнул Раскольников, тоже вставая, — разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, — имея в виду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде, — не наслаждение, да еще при таких обстоятельствах и такому человеку, как я... Разжигает.

— Ну, если так, — даже с некоторым удивлением ответил Свидригайлов, рассматривая Раскольникова, — если так, то вы и сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознать много можете, много... ну да вы и делать-то много можете. Ну, однако ж, довольно. Искренно жалею, что с вами мало переговорил, да вы от меня не уйдете... Вот подождите только...

Свидригайлов пошел вон из трактира. Раскольников за ним. Свидригайлов был, однако, не очень много хмелен; в голову только на мгновение ударяло, хмель же отходил с каждой минутой. Он был чем-то очень озабочен, чем-то чрезвычайно важным, и хмурился. Какое-то ожидание, видимо, волновало его и беспокоило.

С Раскольниковым в последние минуты он как-то вдруг изменился и с каждой минутой становился грубее и насмешливее. Раскольников все это заметил и был тоже в тревоге. Свидригайлов стал ему очень подозрителен, он решился пойти за ним.

Сошли на тротуар.



— Вам направо, а мне налево, или, пожалуй, наоборот, только — adieu, mon plaisir<sup>7</sup>, до радостного свидания!

И он пошел направо к Сенной.

## V

Раскольников пошел вслед за ним.

— Это что! — вскричал Свидригайлов, оборачиваясь, — я ведь, кажется, сказал...

— Это значит то, что я от вас теперь не отстану.

— Что-о-о?

Оба остановились, и оба с минуту глядели друг на друга, как бы меряясь.

— Из всех ваших полупьяных рассказов, — резко отрезал Раскольников, — я заключил *положительно*, что вы не только не оставили ваших подлейших замыслов на мою сестру, но даже более чем когда-нибудь ими заняты. Мне известно, что сегодня утром сестра моя получила какое-то письмо. Вам все время не сиделось на месте... Вы, положим, могли откопать по дороге какую-нибудь жену; но это ничего не значит. Я желаю удостовериться лично...

Раскольников вряд ли и сам мог определить, чего ему именно теперь хотелось и в чем именно желал он удостовериться лично.

— Вот как! А хотите, я сейчас полицию кликну?

— Кличь!

Они опять постояли с минуту друг перед другом. Наконец лицо Свидригайлова изменилось. Удостоверившись, что Раскольников не испугался угрозы, он принял вдруг самый веселый и дружеский вид.

— Ведь этакой! Я нарочно о вашем деле с вами не заговаривал, хоть меня, разумеется, мучит любопытство. Дело фантастическое. Отложил было до другого раза, да, право, вы способны и мертвого раздражить... Ну, пойдемте, только заранее скажу: я теперь только на минутку домой, чтобы денег захватить; потом запираю квартиру, беру извозчика и на целый вечер на Острова. Ну куда же вам за мной?

— Я покамест на квартиру, да и то не к вам, а к Софье Семеновне, извиниться, что на похоронах не был.

— Это как вам угодно, но Софьи Семеновны дома нет. Она всех детей отвела к одной даме, к одной знатной даме-старушке, к моей прежней давнишней знакомой и распорядительнице в каких-то сиротских заведениях. Я очаровал эту даму, внеся ей деньги за всех трех птенцов Катерины Ивановны, кроме того и на заведения пожертвовал еще денег; наконец, рассказал ей историю Софьи Семеновны, даже со всеми онерами, ничего не скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семеновне и назначено было явиться сегодня же, [прямо в —ую отель](#), где временно, с дачи, присутствует моя барыня.

— Нужды нет, я все-таки зайду.

— Как хотите, только я-то вам не товарищ; а мне что! Вот мы сейчас и дома. Скажите, я убежден, вы оттого на меня смотрите подозрительно, что я сам был настолько деликатен и до сих пор не беспокоил вас расспросами... вы понимаете? Вам показалось это делом необыкновенным; бьюсь об заклад, что так! Ну вот и будьте после того деликатным.

— И подслушивайте у дверей!

— А, вы про это! — засмеялся Свидригайлов, — да, я бы удивился, если бы, после всего, вы пропустили это без замечания. Ха! ха! Я хоть нечто и понял из того, что вы тогда... там... накуролесили и Софье Семеновне сами рассказывали, но, однако, что ж это такое? Я, может, совсем отсталый человек и ничего уж понимать не могу. Объясните, ради бога, голубчик! Просветите новейшими началами.

— Ничего вы не могли слышать, врите вы все!

— Да я не про то, не про то (хоть я, впрочем, кое-что и слышал), нет, я про то, что вы

вот всё охаете да охаете! Шиллер-то в вас смущается поминутно. А теперь вот и у дверей не подслушивай. Если так, ступайте да и объявите по начальству, что вот, дескать, так и так, случился со мной такой казус: в теории ошибочка небольшая вышла. Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушонок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку! Бегите, молодой человек! Может, есть еще время. Я искренно говорю. Денег, что ли, нет? Я дам на дорогу.

— Я совсем об этом не думаю, — прервал было Раскольников с отвращением.

— Понимаю (вы, впрочем, не утруждайте себя: если хотите, то много и не говорите); понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? вопросы гражданина и человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? Хе, хе! Затем, что все еще и гражданин и человек? А коли так, так и соваться не надо было; нечего не за свое дело браться. Ну, застрелитесь; что, аль не хочется?

— Вы, кажется, нарочно хотите меня раздражить, чтоб я только от вас теперь отстал...

— Вот чудак-то, да мы уж пришли, милости просим на лестницу. Видите, вот тут вход к Софье Семеновне, смотрите, нет никого! Не верите? Спросите у Капернаумова; она им ключ отдает. Вот она и сама, *madame de Капернаумов*, а? Что? (она глуха немного) ушла? Куда? Ну вот, слышали теперь? Нет ее и не будет до глубокого, может быть, вечера. Ну, теперь пойдете ко мне. Ведь вы хотели и ко мне? Ну, вот мы и у меня. *Madame Ресслих* нет дома. Эта женщина вечно в хлопотах, но хорошая женщина, уверяю вас... может быть, она бы вам пригодилась, если бы вы были несколько рассудительнее. Ну вот, извольте видеть: я беру из бюро этот пятипроцентный билет (вот у меня их еще сколько!), а этот сегодня побоку у менялы пойдет. Ну, видели? Более мне терять времени нечего. Бюро запирается, квартира запирается, и мы опять на лестнице. Ну, хотите, наймемте извозчика! Я ведь на Острова. Не угодно ли прокатиться? Вот я беру эту коляску на Елагин, что? Отказываетесь? Не выдержали? Прокатимтесь, ничего. Кажется, дождь надвигается, ничего, спустим верх...

Свидригайлов сидел уже в коляске. Раскольников рассудил, что подозрения его, по крайней мере в эту минуту, несправедливы. Не отвечая ни слова, он повернулся и пошел обратно по направлению к Сенной. Если б он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более ста шагов, расплатился с коляской и сам очутился на тротуаре. Но он ничего уже не мог видеть и зашел уже за угол. Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова. «И я мог хоть мгновение ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!» — вскричал он невольно. Правда, что суждение свое Раскольников произнес слишком поспешно и легкомысленно. Было нечто во всей обстановке Свидригайлова, что, по крайней мере, придавало ему хоть некоторую оригинальность, если не таинственность. Что же касалось во всем этом сестры, то Раскольников оставался все-таки убежден наверно, что Свидригайлов не оставит ее в покое. Но слишком уж тяжело и невыносимо становилось обо всем этом думать и передумывать!

По обыкновению своему, он, оставшись один, с двадцати шагов впал в глубокую задумчивость. Взойдя на мост, он остановился у перил и стал смотреть на воду. А между тем над ним стояла Авдотья Романовна.

Он повстречался с нею при входе на мост, но прошел мимо, не рассмотрев ее. Дунечка еще никогда не встречала его таким на улице и была поражена до испуга. Она остановилась и не знала: окликнуть его или нет? Вдруг она заметила поспешно подходящего со стороны Сенной Свидригайлова.

Но тот, казалось, приближался таинственно и осторожно. Он не вошел на мост, а остановился в стороне, на тротуаре, стараясь всеми силами, чтоб Раскольников не увидел его. Дуню он уже давно заметил и стал делать ей знаки. Ей показалось, что знаками своими он упрашивал ее не окликать брата и оставить его в покое, а звал ее к себе.

Так Дуня и сделала. Она потихоньку обошла брата и приблизилась к Свидригайлову.

— Пойдемте поскорее, — прошептал ей Свидригайлов. — Я не желаю, чтобы Родион

Романыч знал о нашем свидании. Преду-преждаю вас, что я с ним сидел тут недалеко, в трактире, где он отыскал меня сам, и насилу от него отвязался. Он знает почему-то о моем к вам письме и что-то подозревает. Уж, конечно, не вы ему открыли? А если не вы, так кто же?

— Вот мы уже поворотили за угол, — перебила Дуня, — теперь нас брат не увидит. Объявляю вам, что я не пойду с вами дальше. Скажите мне все здесь; все это можно сказать и на улице.

— Во-первых, этого никак нельзя сказать на улице; во-вторых, вы должны выслушать и Софью Семеновну; в-третьих, я покажу вам кое-какие документы... Ну да, наконец, если вы не согласитесь войти ко мне, то я отказываюсь от всяких разъяснений и тотчас же уйду. При этом попрошу вас не забывать, что весьма любопытная тайна вашего возлюбленного брата находится совершенно в моих руках.

Дуня остановилась в нерешительности и пронзающим взглядом смотрела на Свидригайлова.

— Чего вы боитесь! — заметил тот спокойно, — город не деревня. И в деревне вреда сделали больше вы мне, чем я вам, а тут...

— Софья Семеновна предупреждена?

— Нет, я не говорил ей ни слова и даже не совсем уверен, дома ли она теперь? Впрочем, вероятно, дома. Она сегодня похоронила свою родственницу: не такой день, чтобы по гостям ходить. До времени я никому не хочу говорить об этом и даже раскаиваюсь отчасти, что вам сообщил. Тут малейшая неосторожность равняется уже доносу. Я живу вот тут, вот в этом доме, вот мы и подходим. Вот это дворник нашего дома; дворник очень хорошо меня знает; вот он кланяется; он видит, что я иду с дамой, и уж, конечно, успел заметить ваше лицо, а это вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Извините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья Семеновна живет со мною стена об стену, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах. Чего же вам бояться, как ребенку? Или я уж так очень страшен?

Лицо Свидригайлова искривилось в снисходительную улыбку; но ему было уже не до улыбки. Сердце его стучало, и дыхание спиралось в груди. Он нарочно говорил громче, чтобы скрыть свое возраставшее волнение; но Дуня не успела заметить этого особенного волнения; уж слишком раздражило ее замечание о том, что она боится его, как ребенок, и что он так для нее страшен.

— Хоть я и знаю, что вы человек... без чести, но я вас несколько не боюсь. Идите вперед, — сказала она, по-видимому спокойно, но лицо ее было очень бледно.

Свидригайлов остановился у квартиры Сони.

— Позвольте справиться, дома ли. Нету. Неудача! Но я знаю, что она может прийти очень скоро. Если она вышла, то не иначе как к одной даме, по поводу своих сирот. У них мать умерла. Я тут также ввязался и распоряжался. Если Софья Семеновна не воротится через десять минут, то я пришлю ее к вам самое, если хотите, сегодня же; ну вот и мой номер. Вон мои две комнаты. За дверью помещается моя хозяйка, госпожа Ресслих. Теперь взгляните сюда, я вам покажу мои главные документы: из моей спальни эта вот дверь ведет в совершенно пустые две комнаты, которые отдаются внаем. Вот они... на это вам нужно взглянуть несколько внимательнее...

Свидригайлов занимал две меблированные довольно просторные комнаты. Дунечка недоверчиво осматривалась, но ничего особенного не заметила ни в убранстве, ни в расположении комнат, хотя бы и можно было кой-что заметить, например, что квартира Свидригайлова приходилась как-то между двумя почти необитаемыми квартирами. Вход к нему был не прямо из коридора, а через две хозяйкины комнаты, почти пустые. Из спальни же Свидригайлов, отомкнув дверь, запертую на ключ, показал Дунечке тоже пустую, отдающуюся внаем квартиру. Дунечка остановилась было на пороге, не понимая, для чего ее приглашают смотреть, но Свидригайлов поспешил с разъяснением:

— Вот посмотрите сюда, в эту вторую большую комнату. Заметьте эту дверь, она

заперта на ключ. Возле дверей стоит стул, всего один стул в обеих комнатах. Это я принес из своей квартиры, чтоб удобнее слушать. Вот там сейчас за дверью стоит стол Софьи Семеновны; там она сидела и разговаривала с Родионом Романовичем. А я здесь подслушивал, сидя на стуле, два вечера сряду, оба раза часа по два, — и, уж конечно, мог узнать что-нибудь, как вы думаете?

— Вы подслушивали?

— Да, я подслушивал; теперь пойдемте ко мне; здесь и сесть негде.

Он привел Авдотью Романовну обратно в свою первую комнату, служившую ему залой, и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере от нее на сажень, но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунечку. Она вздрогнула и еще раз недоверчиво осмотрелась. Жест ее был невольный; ей, видимо, не хотелось выказывать недоверчивости. Но уединенное положение квартиры Свидригайлова, наконец, ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила... из гордости. К тому же и другое, несоразмерно большее страдание, чем страх за себя, было в ее сердце. Она нестерпимо мучилась.

— Вот ваше письмо, — начала она, положив его на стол. — Разве возможно то, что вы пишете? Вы намекаете на преступление, совершенное будто бы братом. Вы слишком ясно намекаете, вы не смеете теперь отговариваться. Знайте же, что я еще до вас слышала об этой глупой сказке и не верю ей ни в одном слове. Это гнусное и смешное подозрение. Я знаю историю и как и отчего она выдумалась. У вас не может быть никаких доказательств. Вы обещали доказать: говорите же! Но заранее знайте, что я вам не верю! Не верю!..

Дунечка проговорила это скороговоркой, торопясь, и на мгновение краска бросилась ей в лицо.

— Если бы вы не верили, то могло ли сбыться, чтобы вы рискнули прийти одна ко мне? Зачем же вы пришли? Из одного любопытства?

— Не мучьте меня, говорите, говорите!

— Нечего и говорить, что вы храбрая девушка. Ей-богу, я думал, что вы попросите господина Разумихина сопровождать вас сюда. Но его ни с вами, ни кругом вас не было, я так смотрел: это отважно, хотели, значит, пощадить Родиона Романовича. Впрочем, в вас все божественно... Что же касается до вашего брата, то что я вам скажу? Вы сейчас его видели сами. Каков?

— Не на этом же одном вы основываете?

— Нет, не на этом, а на его собственных словах. Вот сюда два вечера сряду он приходил к Софье Семеновне. Я вам показывал, где они сидели. Он сообщил ей полную свою исповедь. Он убийца. Он убил старуху чиновницу, процентщицу, у которой и сам закладывал вещи; убил тоже сестру ее, торговку, по имени Лизавету, нечаянно вошедшую во время убийства сестры. Убил он их обеих топором, который принес с собою. Он их убил, чтоб ограбить, и ограбил; взял деньги и кой-какие вещи... Он сам это все передавал слово в слово Софье Семеновне, которая одна и знает секрет, но в убийстве не участвовала ни словом, ни делом, а, напротив, ужаснулась так же, как и вы теперь. Будьте покойны, она его не выдаст.

— Этого быть не может! — бормотала Дунечка бледными, помертвевшими губами; она задыхалась, — быть не может, нет никакой, ни малейшей причины, никакого повода... Это ложь! Ложь!

— Он ограбил, вот и вся причина. Он взял деньги и вещи. Правда, он, по собственному своему сознанию, не воспользовался ни деньгами, ни вещами, а снес их куда-то под камень, где они и теперь лежат. Но это потому, что он не посмел воспользоваться.

— Да разве вероятно, чтоб он мог украсть, ограбить? Чтоб он мог об этом только помыслить? — вскричала Дуня и вскочила со стула. — Ведь вы его знаете, видели? Разве он может быть вором?

Она точно умаливала Свидригайлова; она весь свой страх забыла.

— Тут, Авдотья Романовна, тысячи и миллионы комбинаций и сортировок. Вор ворует, зато уж он про себя и знает, что он подлец; а вот я слышал про одного благородного человека, что почту разбил; так кто его знает, может, он и в самом деле думал, что порядочное дело сделал! Разумеется, я бы и сам не поверил, так же как и вы, если бы мне передали со стороны. Но своим собственным ушам я поверил. Он Софье Семеновне и причины все объяснял; но та и ушам своим сначала не поверила, да глазам, наконец, поверила, своим собственным глазам. Он ведь сам ей лично передавал.

— Какие же... причины!

— Дело длинное, Авдотья Романовна. Тут, как бы вам это выразить, своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единственное зло и сто добрых дел! Оно тоже, конечно, обидно для молодого человека с достоинствами и с самолюбием непомерным знать, что были бы, например, всего только тысячи три, и вся карьера, все будущее в его жизненной цели формируется иначе, а между тем нет этих трех тысяч. Прибавьте к этому раздражение от голода, от тесной квартиры, от рубища, от яркого сознания красоты своего социального положения, а вместе с тем положения сестры и матери. Пуще же всего тщеславие, гордость и тщеславие, а впрочем, бог его знает, может, и при хороших наклонностях... Я ведь его не виню, не думайте, пожалуйста; да и не мое дело. Тут была тоже одна собственная теория, — так себе теория, — по которой люди разделяются, видите ли, на материал и на особенных людей, то есть на таких людей, для которых, по их высокому положению, закон не писан, а, напротив, которые сами сочиняют законы остальным людям, материалу-то, сору-то. Ничего, так себе теория; *une théorie comme une autre*<sup>8</sup>. Наполеон его ужасно увлек, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Он, кажется, вообразил себе, что и он гениальный человек, — то есть был в том некоторое время уверен. Он очень страдал и теперь страдает от мысли, что теорию-то сочинить он умел, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не в состоянии, стало быть, человек не гениальный. Ну, а уж это для молодого человека с самолюбием и унижительно, в наш век-то особенно...

— А угрызение совести? Вы отрицаете в нем, стало быть, всякое нравственное чувство? Да разве он таков?

— Ах, Авдотья Романовна, теперь все помутилось, то есть, впрочем, оно и никогда в порядке-то особенном не было. Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие, как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному; но беда быть широким без особенной гениальности. А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговаривали с вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина. Еще вы меня именно этой шириной укоряли. Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он здесь лежал да свое обдумывал. У нас в образованном обществе особенно священных преданий ведь нет, Авдотья Романовна: разве кто как-нибудь себе по книгам составит... али из летописей что-нибудь выведет. Но ведь это больше ученые и, знаете, в своем роде всё колпаки, так что даже и неприлично светскому человеку. Впрочем, мои мнения вообще вы знаете; я никого решительно не обвиняю. Сам я белоручка, этого и придерживаюсь. Да мы об этом уже не раз говорили. Я даже имел счастье интересоваться вас моими суждениями... Вы очень бледны, Авдотья Романовна!

— Я эту теорию его знаю. Я читала его статью в журнале о людях, которым все разрешается... Мне приносил Разумихин...

— Господин Разумихин? Статью вашего брата? В журнале? Есть такая статья? Не знал я. Вот, должно быть, любопытно-то! Но куда же вы, Авдотья Романовна?

— Я хочу видеть Софью Семеновну, — проговорила слабым голосом Дунечка. — Куда к ней пройти? Она, может, и пришла; я непременно сейчас хочу ее видеть. Пусть она...

Авдотья Романовна не могла договорить; дыхание ее буквально пресеклось.

— Софья Семеновна не воротится до ночи. Я так полагаю. Она должна была прийти очень скоро, если же нет, то уж очень поздно...

— А, так ты лжешь! Я вижу... ты лгал... ты все лгал!.. Я тебе не верю! Не верю! Не верю! — кричала Дунечка в настоящем иступлении, совершенно теряя голову.

Почти в обмороке упала она на стул, который поспешил ей подставить Свидригайлов.

— Авдотья Романовна, что с вами, очнитесь! Вот вода. Отпейте один глоток...

Он брызнул на нее воды. Дунечка вздрогнула и очнулась.

— Сильно подействовало! — бормотал про себя Свидригайлов, нахмурясь. — Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что у него есть друзья. Мы его спасем, выречим. Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги; я в три дня достану билет. А насчет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится; успокойтесь. Великим человеком еще может быть. Ну, что с вами? Как вы себя чувствуете?

— Злой человек! Он еще насмехается. Пустите меня...

— Куда вы? Да куда вы?

— К нему. Где он? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? Мы сюда вошли в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы успели запереть ее на ключ?

— Нельзя же было кричать на все комнаты о том, что мы здесь говорили. Я вовсе не насмехаюсь; мне только говорить этим языком надоело. Ну куда вы такая пойдете? Или вы хотите предать его? Вы его доведете до бешенства, и он предаст себя сам. Знайте, что уж за ним следят, уже попали на след. Вы только его выдадите. Подождите: я видел его и говорил с ним сейчас; его еще можно спасти. Подождите, сядьте, обдумаем вместе. Я для того и звал вас, чтобы поговорить об этом наедине и хорошенько обдумать. Да сядьте же!

— Каким образом вы можете его спасти? Разве его можно спасти?

Дуня села. Свидригайлов сел подле нее.

— Все это от вас зависит, от вас, от вас одной, — начал он с сверкающими глазами, почти шепотом, сбиваясь и даже не выговаривая иных слов от волнения.

Дуня в испуге отшатнулась от него дальше. Он тоже весь дрожал.

— Вы... одно ваше слово, и он спасен! Я... я его спасу. У меня есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт, два паспорта. Один его, другой мой. У меня друзья; у меня есть деловые люди... Хотите? Я возьму еще вам паспорт... вашей матери... зачем вам Разумихин? Я вас также люблю... Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать, дайте, дайте! Я не могу слышать, как оно шумит. Скажите мне: сделай то, и я сделаю! Я все сделаю. Я невозможное сделаю. Чему вы веруете, тому и я буду веровать. Я все, все сделаю! Не смотрите, не смотрите на меня так! Знаете ли, что вы меня убиваете...

Он начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, точно ему в голову вдруг ударило. Дуня вскочила и бросилась к дверям.

— Отворите! отворите! — кричала она через дверь, призывая кого-нибудь и потрясая дверь руками. — Отворите же! Неужели нет никого?

Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая улыбка медленно выдавливалась на дрожавших еще губах его.

— Там никого нет дома, — проговорил он тихо и с расстановками, — хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать: только себя волнуете понапрасну.

— Где ключ? Отвори сейчас дверь, сейчас, низкий человек!

— Я ключ потерял и не могу его отыскать.

— А? Так это насилие! — вскричала Дуня, побледнела как смерть и бросилась в угол, где поскорей заслонилась столиком, случившимся под рукой. Она не кричала; но она впиалась взглядом в своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на другом конце комнаты. Он даже овладел собою, по крайней мере снаружи. Но лицо его было бледно по-прежнему. Насмешливая улыбка не покидала его.

— Вы сказали сейчас «насилие», Авдотья Романовна. Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семеновны дома нет, до Капернауумовых очень далеко, пять запертых комнат. Наконец, я, по крайней мере, вдвое сильнее вас и, кроме того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жаловаться: ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата? Да и не поверит вам никто: ну, с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом пожертвуете, то и тут ничего не докажете: насилие очень трудно доказать, Авдотья Романовна.

— Подлец! — прошептала Дуня в негодовании.

— Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предположения. По моему же личному убеждению, вы совершенно правы: насилие — мерзость. Я говорил только к тому, что на совести вашей ровно ничего не останется, если бы даже... если бы даже вы и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам предлагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам, ну силе, наконец, если уж без этого слова нельзя. Подумайте об этом; судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб... всю жизнь... я вот здесь буду ждать...

Свидригайлов сел на диван, шагах в восьми от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала...

Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места.

— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь, — ну, это совершенно изменяет ход дела! Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна! Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда как искал!.. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром.

— Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг, и, клянусь, я убью тебя!

Дуня была в исступлении. Револьвер она держала наготове.

— Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю, — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте.

— Доноси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!..

— А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?

— Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде... я знаю, ты за ним ездил... у тебя было готово... Это непременно ты... подлец!

— Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же... все-таки ты же была бы причиной.

— Лжешь! Я тебя ненавидела всегда, всегда...

— Эге, Авдотья Романовна! Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните, вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

— Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник!

— Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. (Он усмехнулся.) Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну и стреляй!

Дуня подняла револьвер и, мертво-бледная, с побелевшею, дрожавшею нижнею губкой, с сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видел ее столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, и сердце его с болью сжалось. Он ступил шаг, и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударила сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся:

— Укусила оса! Прямо в голову метит... Что это? Кровь! — Он вынул платок, чтоб

обтереть кровь, тоненькою струйкой стекавшую по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уж не понимала, что такое она сделала и что это делается!

— Ну что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно, — этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер.

— Оставьте меня! — проговорила она в отчаянии, — клянусь, я опять выстрелю... Я... убью!..

— Ну что ж... в трех шагах и нельзя не убить. Ну а не убьете... тогда... — Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага.

Дунечка выстрелила, осечка!

— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял пред нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, воспаленно-страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. «И... и, уж конечно, она убьет его теперь, в двух шагах!..»

Вдруг она отбросила револьвер.

— Бросила! — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца, и, может быть, не одна тягость смертного страха; да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить.

Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась, но, вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами. Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, и выговорить он не мог.

— Отпусти меня! — умоляя, сказала Дуня.

Свидригайлов вздрогнул: это *ты* было уже как-то не так проговорено, как давешнее.

— Так не любишь? — тихо спросил он.

Дуня отрицательно повела головой.

— И... не можешь? Никогда? — с отчаянием прошептал он.

— Никогда! — прошептала Дуня.

Прошло мгновение ужасной немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал пред ним.

Прошло еще мгновение.

— Вот ключ! (Он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне.) Берите; уходите скорей!..

Он упорно смотрел в окно.

Дуня подошла к столу взять ключ.

— Скорей! Скорей! — повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом «скорей», видно, прозвучала какая-то страшная нотка.

Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Чрез минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к —му мосту.

Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. Кровь, уже засыхавшая, запачкала ему ладонь; он посмотрел на кровь со злобою, затем намочил полотенце и вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький, карманный трехударный револьвер, старого устройства; в нем осталось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел.



## VI

Весь этот вечер до десяти часов он провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. Отыскалась где-то и Катя, которая опять пела другую лакейскую песню, о том, как кто-то, «подлец и тиран»,

Начал Катю целовать.

Свидригайлов поил и Катю, и шарманщика, и песенников, и лакеев, и двух каких-то писаришек. С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход. В этом саду была одна тоненькая, трехлетняя елка и три кустика. Кроме того, выстроен был [«вокзал»](#), в сущности распивочная, но там можно было получать и чай, да сверх того стояли несколько зеленых столиков и стульев. Хор скверных песенников и какой-то пьяный мюнхенский немец вроде паяца, с красным носом, но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки поссорились с какими-то другими писаришками и затеяли было драку. Свидригайлов выбран был ими судьей. Он судил их уже с четверть часа, но они так кричали, что не было ни малейшей возможности что-нибудь разобрать. Вернее всего было то, что один из них что-то украл и даже успел тут же продать какому-то подвернувшемуся жиду; но, продав, не захотел поделиться с своим товарищем. Оказалось наконец, что проданный предмет была чайная ложка, принадлежавшая вокзалу. В вокзале хватились ее, и дело стало принимать размеры хлопотливые. Свидригайлов заплатил за ложку, встал и вышел из сада. Было часов около десяти. Сам он не выпил во все это время ни одной капли вина и всего только спросил себе в вокзале чаю, да и то больше для порядка. Между тем вечер был душный и мрачный. К десяти часам надвинулись со всех сторон страшные тучи; ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до пяти раз в продолжение каждого зарева. Весь промокший до нитки, дошел он домой, заперся, отворил свое бюро, вынул все свои деньги и разорвал две-три бумаги. Затем, сунув деньги в карман, он хотел было переменить на себе платье, но, посмотрев в окно и прислушавшись к грозе и дождю, махнул рукой, взял шляпу и вышел, не заперев квартиры. Он прошел прямо к Соне. Та была дома.

Она была не одна; кругом нее было четверо маленьких детей Капернаумова. Софья Семеновна поила их чаем. Она молча и почтительно встретила Свидригайлова, с удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. Дети же все тотчас убежали в неопisanном ужасе.

Свидригайлов сел к столу, а Соню попросил сесть подле. Та робко приготовилась слушать.

— Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду, — сказал Свидригайлов, — и так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кой-какие распоряжения сделать. Ну, вы эту даму сегодня видели? Я знаю, что она вам говорила, нечего пересказывать. (Соня сделала было движение и покраснела.) У этого народа известная складка. Что же касается до сестриц и до брата вашего, то они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого, под расписки, куда следует, в верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе, так, на всякий случай. Вот, возьмите! Ну-с, теперь это кончено. Вот три пятипроцентные билета, всего на три тысячи. Это вы возьмите себе, собственно себе, и пусть это так между нами и будет, чтобы никто и не знал, что бы там вы ни слышали. Они же вам понадобятся, потому, Софья Семеновна, так жить, по-прежнему, — скверно, да и нужды вам более нет никакой.

— Я-с вами так благодетельствована, и сироты-с, и покойница, — заторопилась

Соня, — что если до сих пор я вас мало так благодарила, то... не считите...

— Э, полноте, полноте.

— А эти деньги, Аркадий Иванович, я вам очень благодарна, но я ведь теперь в них не нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю, не считите неблагодарностью: если вы такие благодетельные, то эти деньги-с...

— Вам, вам, Софья Семеновна, и, пожалуйста, без особенных разговоров, потому даже мне и некогда. А вам понадобятся. У Родиона Романовича две дороги: или пуля в лоб, [или по Владимирке](#). (Соня дико посмотрела на него и задрожала.) Не беспокойтесь, я все знаю, от него же самого, и я не болтун; никому не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтоб он сам на себя пошел и сказал. Это ему будет гораздо выгоднее. Ну, как выйдет Владимирка — он по ней, а вы ведь за ним? Ведь так? Ведь так? Ну, а коли так, то, значит, деньги вот и понадобятся. Для него же понадобятся, понимаете? Давая вам, я все равно что ему даю. К тому же вы вот обещались и Амалии Ивановне долг заплатить; я ведь слышал. Что это вы, Софья Семеновна, так необдуманно всё такие контракты и обязательства на себя берете? Ведь Катерина Ивановна осталась должна этой немке, а не вы, так и наплевать бы вам на немку. Так на свете не проживешь. Ну-с, если вас когда кто будет спрашивать, — ну завтра или послезавтра, — обо мне или насчет меня (а вас-то будут спрашивать), то вы о том, что я теперь к вам заходил, не упоминайте и деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вам дал, никому. Ну, теперь до свиданья. (Он встал со стула.) Родиону Романычу поклон. Кстати: держите-ка деньги-то до времени хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина? Уж конечно, знаете. Это малый так себе. Снесите-ка к нему, завтра или... когда придет время. А до тех пор подальше спрячьте.

Соня также вскочила со стула и испуганно смотрела на него. Ей очень хотелось что-то сказать, что-то спросить, но она в первые минуты не смела, да и не знала, как ей начать.

— Как же вы... как же вы-с, теперь же в такой дождь и пойдете?

— Ну, в Америку собираться, да дождя бояться, хе! хе! прощайте, голубчик, Софья Семеновна! Живите и много живите, вы другим пригодитесь. Кстати... скажите-ка господину Разумихину, что я велел ему кланяться. Так-таки и передайте: Аркадий, дескать, Иванович Свидригайлов кланяется. Да непременно же.

Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге и в каком-то неясном и тяжелом подозрении.

Оказалось потом, что в этот же вечер, часу в двенадцатом, он сделал и еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит. Дождь все еще не переставал. Весь мокрый, вошел он в двадцать минут двенадцатого в тесную квартирку родителей своей невесты, на Васильевском острове, в третьей линии, на Малом проспекте. Насилу достучался и вначале произвел было большое смущение; но Аркадий Иванович, когда хотел, был человек с весьма обворожительными манерами, так что первоначальная (хотя, впрочем, весьма остроумная) догадка благоразумных родителей невесты, что Аркадий Иванович, вероятно, до того уже где-нибудь нахлестался пьян, что уж и себя не помнит, — тотчас же пала сама собою. Расслабленного родителя выкатили в кресле к Аркадию Ивановичу сердобольная и благоразумная мать невесты и, по своему обыкновению, тотчас же приступила к кой-каким отдаленным вопросам. (Эта женщина никогда не делала вопросов прямых, а всегда пускала в ход сперва улыбки и потирания рук, а потом, если надо было что-нибудь узнать непременно и верно, например: когда угодно будет Аркадию Ивановичу назначить свадьбу, то начинала любопытнейшими и почти жадными вопросами о Париже и о тамошней придворной жизни и разве потом уже доходила по порядку и до третьей линии Васильевского острова.) В другое время все это, конечно, внушало много уважения, но на этот раз Аркадий Иванович оказался как-то особенно нетерпеливым и наотрез пожелал видеть невесту, хотя ему уже и доложили в самом начале, что невеста легла уже спать. Разумеется, невеста явилась, Аркадий Иванович прямо сообщил ей, что на время должен по одному весьма важному

обстоятельству уехать из Петербурга, а потому и принес ей пятнадцать тысяч рублей серебром в разных билетах, прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить ей эту безделку пред свадьбой. Особенно логической связи подарка с немедленным отъездом и неременною необходимостью прийти для того в дождь и в полночь, конечно, этими объяснениями ничуть не выказывалось, но дело, однако же, обошлось весьма складно. Даже необходимые оханья и аханья, расспросы и удивления сделались как-то вдруг необыкновенно умеренны и сдержанны; зато благодарность была выказана самая пламенная и подкреплена даже слезами благоразумнейшей матери. Аркадий Иванович встал, засмеялся, поцеловал невесту, потрепал ее по щечке, подтвердил, что скоро приедет, и, заметив в ее глазах хотя и детское любопытство, но вместе с тем и какой-то очень серьезный, немой вопрос, подумал, поцеловал ее в другой раз и тут же искренно подосадовал в душе, что подарок пойдет немедленно на сохранение под замок благоразумнейшей из матерей. Он вышел, оставив всех в необыкновенно возбужденном состоянии. Но сердобольная мамаша тотчас же, полушепотом и скороговоркой, разрешила некоторые важнейшие недоумения, а именно, что Аркадий Иванович человек большой, человек с делами и со связями, богач, — бог знает что там у него в голове, вздумал и поехал, вздумал и деньги отдал, а стало быть, и дивиться нечего. Конечно, странно, что он весь мокрый, но англичане, например, и того эксцентричнее, да и все эти высшего тона не смотрят на то, что о них скажут, и не церемонятся. Может быть, он даже и нарочно так ходит, чтобы показать, что он никого не боится. А главное, об этом ни слова никому не говорить, потому что бог знает еще что из этого выйдет, а деньги поскорее под замок, и, уж конечно, самое лучшее во всем этом, что Федосья просидела в кухне, а главное, отнюдь, отнюдь, отнюдь не надо сообщать ничего этой пройдохе Ресслих и прочее и прочее. Просидели и прошептались часов до двух. Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная.

А Свидригайлов между тем ровнехонько в полночь [переходил через —ков мост](#) по направлению на Петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой; он повернулся и пошел на —ой проспект. Он шагал по бесконечному —ому проспекту уже очень долго, почти с полчаса, не раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой, но не переставал чего-то с любопытством разыскивать по правой стороне проспекта. Тут где-то, уже в конце проспекта, он заметил, как-то проезжая недавно мимо, одну гостиницу деревянную, но обширную, и имя ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде Адрианополя. Он не ошибся в своих расчетах: эта гостиница в такой глуши была такую видною точкой, что возможности не было не отыскать ее, даже среди темноты. Это было длинное деревянное почерневшее здание, в котором, несмотря на поздний час, еще светились огни и замечалось некоторое оживление. Он вошел и у встретившегося ему в коридоре оборванца спросил номер. Оборванец, окинув взглядом Свидригайлова, встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей. Но другого не было; все были заняты. Оборванец смотрел вопросительно.

— Чай есть? — спросил Свидригайлов.

— Это можно-с.

— Еще что есть?

— Телятина-с, водка-с, закуска-с.

— Принести телятины и чаю.

— А больше ничего не потребуется? — спросил даже в некотором недоумении оборванец.

— Ничего, ничего!

Оборванец удалился, совершенно разочарованный.

«Хорошее, должно быть, место, — подумал Свидригайлов, — как это я не знал. Я

тоже, вероятно, имею вид возвращающегося откуда-нибудь из [кафешантана](#), но уже имевшего дорогой историю. А любопытно, однако ж, кто здесь останавливается и ночует?»

Он зажег свечу и осмотрел номер подробнее. Это была клетушка до того маленькая, что даже почти не под рост Свидригайлову, в одно окно; постель очень грязная, простой крашенный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался. Но странный и непрерывный шепот, иногда подымавшийся чуть не до крику, в соседней клетушке, обратил наконец его внимание. Этот шепот не переставал с того времени, как он вошел. Он прислушался: кто-то ругал и чуть ли не со слезами укорял другого, но слышался один только голос. Свидригайлов встал, заслониł рукою свечку, и на стене тотчас же блеснула щелочка: он подошел и стал смотреть. В номере, несколько большем, чем его собственный, было двое посетителей. Один из них без сюртука, с чрезвычайно курчавою головою и с красным, воспаленным лицом, стоял в ораторской позе, раздвинув ноги, чтоб удержать равновесие, и, ударяя себя рукой в грудь, патетически укорял другого в том, что тот нищий и что даже чина на себе не имеет, что он вытащил его из грязи и что когда хочет, тогда и может выгнать его, и что все это видит один только перст Всевышнего. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удастся. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но, очевидно, не имел никакого понятия, о чем идет речь, и вряд ли что-нибудь даже и слышал. На столе догорала свеча, стоял почти пустой графин водки, рюмки, хлеб, стаканы, огурцы и посуда с давно уже выпитым чаем. Осмотрев внимательно эту картину, Свидригайлов безучастно отошел от щелочки и сел опять на кровать.

Оборванец, воротившийся с чаем и с телятиной, не мог удержаться, чтобы не спросить еще раз: «не надо ли еще чего-нибудь?» — и, выслушав опять ответ отрицательный, удалился окончательно. Свидригайлов набросился на чай, чтобы согреться, и выпил стакан, но съесть не мог ни куска, за совершенною потерей аппетита. В нем, видимо, начиналась лихорадка. Он снял с себя пальто, жакетку, закутался в одеяло и лег на постель. Ему было досадно: «все бы лучше на этот раз быть здоровым», — подумал он и усмехнулся. В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным. Он лежал и словно грезил: мысль сменялась мыслью. Казалось, ему очень бы хотелось хоть к чему-нибудь особенно прицепиться воображением. «Это под окном, должно быть, какой-нибудь сад, — подумал он, — шумят деревья; как я не люблю шум деревьев ночью, в бурю и в темноту, скверное ощущение!» И он вспомнил, как, проходя давеча мимо Петровского парка, с отвращением даже подумал о нем. Тут вспомнил кстати и о —ковом мосте и о Малой Неве, и ему опять как бы стало холодно, как давеча, когда он стоял над водой. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах, — подумал он вновь и вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль: ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет всей этой эстетики и комфорта, а тут-то именно и разборчив стал, точно зверь, который непременно место себе выбирает... в подобном же случае. Именно повернуть бы давеча на Петровский! Небось темно показалось, холодно, хе! хе! Чуть ли не ощущений приятных понадобилось!.. Кстати, зачем я свечку не затушу? (Он задул ее.) У соседей улеглись, — подумал он, не видя света в давешней щелочке. — Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете...»

Ему вдруг почему-то вспомнилось, как давеча, за час до исполнения замысла над Дунечкой, он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению Разумихина. «В самом

деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельма, однако ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь *слишком* уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы. Ну да черт с ним, как хочет, мне что».

Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать пред ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить, — подумал он, очнувшись, — надо о чем-нибудь другом думать. Странно и смешно: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной признак! Спорить тоже не любил и не горячился — тоже дурной признак! А сколько я ей давеча наобещал, фу черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь...» Он опять замолчал и стиснул зубы: опять образ Дунечки появился перед ним точь-в-точь как была она, когда, выстрелив в первый раз, ужасно испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него, так что он два раза успел бы схватить ее, а она и руки бы не подняла в защиту, если б он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему... «Э! к черту! Опять эти мысли, все это надо бросить, бросить!...»

Он уже забывался: лихорадочная дрожь утихала; вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул: «Фу черт, да это чуть ли не мышь! — подумал он, — это я телятину оставил на столе...» Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдруг опять что-то неприятное шоркнуло ему по ноге; он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель, — ничего не было; он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее; но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку; он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно, он лежал на кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло, под окном выл ветер. «Экая скверность!» — подумал он с досадой.

Он встал и уселся на краю постели спиной к окну. «Лучше уж совсем не спать», — решил он. От окна было, впрочем, холодно и сыро, не вставая с места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать; но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки мыслей, без начала и конца и без связи. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание, — но ему всё стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж, светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и нежных нарцисзов, склоняющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежее накошенной душистой травой, окна были открыты, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым [гроденаплем](#) и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах, лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы



ее, волосы светлой блондинки, были мокры; венчик из роз обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца — утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшись и удивившись это молодое детское сознание, залившись незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшись последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер...

Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одною рубашкой грудь. Под окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного; вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на столики чай. Теперь же с деревьев и кустов летели в окно брызги, было темно, как в погребу, так что едва-едва можно было различить только какие-то темные пятна, обозначающие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут пять, не отрываясь, в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.

«А, сигнал! Вода прибывает, — подумал он, — к утру хлынет, там, где пониже место, на улицы, залетят подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи... А который-то теперь час?» И только что подумал он это, где-то близко, такая и как бы торопясь из всей мочи, стенные часы пробили три. «Эге, да через час уже будет светать! Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову...» Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя жилетку, пальто, надел шляпу и вышел со свечой в коридор, чтоб отыскать где-нибудь спавшего в каморке между всяким хламом и свечными огарками оборванца, расплатиться с ним за номер и выйти из гостиницы. «Самая лучшая минута, нельзя лучше и выбрать!»

Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко кликнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка — девочку лет пяти, не более, в измокшем, как полумойная тряпка, платьишке, дрожащую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем нет-нет и вдруг опять всхлипнут. Лицо девочки было бледное и изнуренное; она окостенела от холода, но «как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь». Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про «мамасю» и что «мамасыя пльбьет», про какую-то чашку, которую «лязбила» (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибудут. Он взял ее на руки, пошел к себе в номер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмачонки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем с головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался.

«Вот еще вздумал связаться! — решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. — Какой вздор!» В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца и поскорее уйти отсюда. «Эх, девчонка!» — подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щекам. Но странно: эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», — подумал Свидригайлов, это — точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут, но что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетски подмигивающий глазок, точно девочка не спит и притворяется. Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку; кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться; это уже смех, явный смех; что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются... Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как! пятилетняя! — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, — это... что ж это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки... «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку... Но в ту же минуту проснулся.

Он на той же постели, так же закутанный в одеяло; свеча не зажжена, а уж в окнах белеет полный день.

«Кошмар во всю ночь!» Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит; кости его болели. На дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе; проспал! Он встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Нашупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль; потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листке написал крупно несколько строк. Перечитав их, он задумался, облокотясь на стол. Револьвер и записная книжка лежали тут же, у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе. Он долго смотрел на них и, наконец, свободно правой рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице.

Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты и, наконец, тот самый куст... С досадой стал он рассматривать дома, чтобы думать о чем-нибудь другом. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он наткался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом, перебежала ему дорогу. Какой-то мертво-пьяный в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево. «Ба! — подумал он, — да вот и место, зачем на Петровский? По крайней мере, при официальном свидетеле...» Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и повернулся в —скую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовской каске. Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице

его виднелась та вековая брызгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени, молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит.

— А-зе, сто-зе вам и здесь на-а-до? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов.

— Здесь не места.

— Я, брат, еду в чужие края.

— В чужие края?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови.

— А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здесь не места!

— Да почему же бы и не место?

— А потому-зе, сто не места.

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к своему правому виску.

— А-зе здесь нельзя, здесь не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.

Свидригайлов спустил курок.

## VII

В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников подходил к квартире матери и сестры своей, — к той самой квартире в доме Бакалеева, где устроил их Разумихин. Вход на лестницу был с улицы. Раскольников подходил, все еще сдерживая шаг и как бы колеблясь: войти или нет? Но он бы не воротился ни за что; решение его было принято. «К тому же все равно они еще ничего не знают, — думал он, — а меня уже привыкли считать за чудака...» Костюм его был ужасен: все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, бог знает где. Но, по крайней мере, он решился.

Он постучал в дверь; ему отперла мать. Дунечки дома не было. Даже и служанки на ту пору не случилось. Пульхерия Александровна сначала онемела от радостного изумления; потом схватила его за руку и потащила в комнату.

— Ну, вот и ты! — начала она, запинаясь от радости. — Не сердись на меня, Родя, что я тебя так глупо встречаю, со слезами: это я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь, а уж у меня глупая привычка такая: слезы текут. Это у меня со смерти твоего отца, от всего плачу. Садись, голубчик, устал, должно быть, вижу. Ах, как ты испачкался.

— Я под дождем вчера был, мамаша... — начал было Раскольников.

— Да нет же, нет! — вскинулась Пульхерия Александровна, перебивая его, — ты думал, я тебя так сейчас и допрашивать начну, по бабьей прежней привычке, не тревожись. Я ведь понимаю, все понимаю, теперь я уж выучилась по-здешнему и, право, сама вижу, что здесь умнее. Я раз навсегда рассудила: где мне понимать твои соображения и требовать у тебя отчетов? У тебя, может быть, и бог знает какие дела и планы в голове, или мысли там какие-нибудь зарождаются; так мне тебя и толкать под руку: об чем, дескать, думаешь? Я вот... Ах, господи! Да что же это я толкусь туда и сюда как угорелая... Я вот, Родя, твою статью в журнале читаю уже в третий раз, мне Дмитрий Прокофьевич принес. Так я и ахнула, как увидела; вот дура-то, думаю про себя, вот он чем



занимается, вот и разгадка вещей! У него, может, новые мысли в голове на ту пору; он их обдумывает, а я его мучаю и смущаю. Читаю, друг мой, и, конечно, много не понимаю; да оно, впрочем, так и должно быть: где мне?

— Покажите-ка, мамаша.

Раскольников взял газету и мельком взглянул на свою статью. Как ни противоречило это его положению и состоянию, но он ощутил то странное и язвительно-сладкое чувство, какое испытывает автор, в первый раз видящий себя напечатанным, к тому же и двадцать три года сказались. Это продолжалось одно мгновение. Прочитав несколько строк, он нахмурился, и страшная тоска сжала его сердце. Вся его душевная борьба последних месяцев напомнилась ему разом. С отвращением и досадой отбросил он статью на стол.

— Но только, Родя, как я ни глупа, но все-таки я могу судить, что ты весьма скоро будешь одним из первых людей, если не самым первым в нашем ученом мире. И смели они про тебя думать, что ты помешался. Ха-ха-ха! ты не знаешь — ведь они это думали! Ах, низкие червяки, да где им понимать, что такое ум! И ведь Дунечка тоже чуть не верила — каково! Покойник отец твой два раза отсылал в журналы — сначала стихи (у меня и тетрадка хранится, я тебе когда-нибудь покажу), а потом уж и целую повесть (я сама выпросила, чтоб он дал мне переписать), и уж как мы молились оба, чтобы приняли, — не приняли! Я, Родя, дней шесть-семь назад убивалась, смотря на твое платье, как ты живешь, что ешь и в чем ходишь. А теперь вижу, что опять-таки глупа была, потому захочешь, все теперь себе сразу достанешь, умом и талантом. Это ты покамест, значит, не хочешь теперь и гораздо важнейшими делами занимаешься...

— Дуни дома нет, мамаша?

— Нету, Родя. Очень часто ее дома не вижу, оставляет меня одну. Дмитрий Прокофьевич, спасибо ему, заходит со мной посидеть и все об тебе говорит. Любит он тебя и уважает, мой друг. Про сестру же не говорю, чтоб она уж так очень была ко мне непочтительна. Я ведь не жалуясь. У ней свой характер, у меня свой; у ней свои тайны какие-то завелись; ну, у меня тайн от вас нет никаких. Конечно, я твердо уверена, что Дуня слишком умна и, кроме того, и меня и тебя любит... но уж не знаю, к чему все это приведет. Вот ты меня осчастливил теперь, Родя, что зашел, а она-то вот и прогуляла; придет, я и скажу: а без тебя брат был, а ты где изволила время проводить? Ты меня, Родя, очень-то и не балуй: можно тебе — зайди, нельзя — нечего делать, и так подожду. Ведь я все-таки буду знать, что ты меня любишь, с меня и того довольно. Буду вот твои сочинения читать, буду про тебя слышать ото всех, а нет-нет — и сам зайдешь проведать, чего ж лучше? Ведь вот зашел же теперь, чтоб утешить мать, я ведь вижу...

Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала.

— Опять я! Не гляди на меня, дуру! Ах, господи, да что ж я сию, — вскочила она, срываясь с места, — ведь кофей есть, а я тебя и не потчую! Вот ведь эгоизм-то старушечий что значит. Сейчас, сейчас!

— Маменька, оставьте это, я сейчас пойду. Я не для того пришел. Пожалуйста, выслушайте меня.

Пульхерия Александровна робко подошла к нему.

— Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь? — спросил он вдруг от полноты сердца, как бы не думая о своих словах и не взвешивая их.

— Родя, Родя, что с тобою? Да как же ты об этом спрашивать можешь? Да кто про тебя мне что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне ни пришел, просто прогнню.

— Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил, и теперь рад, что мы одни, рад даже, что Дунечки нет, — продолжал он с тем же порывом, — я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить... Ну и довольно; мне казалось, что так надо

сделать и этим начать...

Пульхерия Александровна молча обнимала его, прижимала к своей груди и тихо плакала.

— Что с тобой, Родя, не знаю, — сказала она наконец, — думала я все это время, что мы просто надоедаем тебе, а теперь вижу по всему, что тебе великое горе готовится, оттого ты тоскуешь. Давно я уже предвижу это, Родя. Прости меня, что об этом заговорила; все об этом думаю и по ночам не сплю. Эту ночь и сестра твоя всю напролет в бреду пролежала и все о тебе вспоминала. Расслушала я что-то, а ничего не поняла. Все утро как перед казнью ходила, чего-то ждала, предчувствовала и вот дождалась! Родя, Родя, куда же ты? Едешь, что ли, куда-нибудь?

— Еду.

— Так я и думала! Да ведь и я с тобой поехать могу, если тебе надо будет. И Дуня; она тебя любит, она очень любит тебя, и Софья Семеновна, пожалуй, пусть с нами едет, если надо; видишь, я охотно ее вместо дочери даже возьму. Нам Дмитрий Прокофьевич поможет вместе собраться... но... куда же ты... едешь?

— Прощайте, маменька.

— Как! Сегодня же! — вскрикнула она, как бы теряя его навеки.

— Мне нельзя, мне пора, мне очень нужно...

— И мне нельзя с тобой?

— Нет, а вы станьте на колени и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, может, и дойдет.

— Дай же я перекрещу тебя, благословлю тебя! Вот так, вот так. О боже, что это мы делаем!

Да, он был рад, он был очень рад, что никого не было, что они были наедине с матерью. Как бы за все это ужасное время разом размягчилось его сердце. Он упал перед нею, он ноги ей целовал, и оба, обнявшись, плакали. И она не удивлялась и не расспрашивала на этот раз. Она уже давно понимала, что с сыном что-то ужасное происходит, а теперь приспела какая-то страшная для него минута.

— Родя, милый мой, первенец ты мой, — говорила она, рыдая, — вот ты теперь такой же, как был маленький, так же приходил ко мне, так же и обнимал и целовал меня; еще когда мы с отцом жили и бедовали, ты утешал нас одним уже тем, что был с нами, а как я похоронила отца, — то сколько раз мы, обнявшись с тобой вот так, как теперь, на могилке его плакали. А что я давно плачу, то это сердце материнское беду предугадало. Я как только в первый раз увидела тебя тогда, вечером, помнишь, как мы только что приехали сюда, то все по твоему взгляду одному угадала, так сердце у меня тогда и дрогнуло, а сегодня, как отворила тебе, взглянула, ну, думаю, видно, пришел час роковой. Родя, Родя, ты ведь не сейчас едешь?

— Нет.

— Ты еще придешь?

— Да... приду.

— Родя, не сердись, я и расспрашивать не смею. Знаю, что не смею, но так, два только словечка скажи мне, далеко куда ты едешь?

— Очень далеко.

— Что же там, служба какая, карьера, что ли, тебе?

— Что Бог пошлет... помолитесь только за меня...

Раскольников пошел к дверям, но она ухватила за него и отчаянным взглядом смотрела ему в глаза. Лицо ее исказилось от ужаса.

— Довольно, маменька, — сказал Раскольников, глубоко раскаиваясь, что вздумал прийти.

— Не навек? Ведь еще не навек? Ведь ты придешь, завтра придешь?

— Приду, приду, прощайте.

Он вырвался наконец.

Вечер был свежий, теплый и ясный; погода разгулялась еще с утра. Раскольников шел в свою квартиру; он спешил. Ему хотелось кончить все до заката солнца. До тех же пор не хотелось бы ни с кем-нибудь повстречаться. Поднимаясь в свою квартиру, он заметил, что Настасья, оторвавшись от самовара, пристально следит за ним и провожает его глазами. «Уж нет ли кого у меня?» — подумал он. Ему с отвращением померещился Порфирий. Но, дойдя до своей комнаты и отворив ее, он увидел Дунечку. Она сидела одна-одинешенька, в глубоком раздумье и, кажется, давно уже ждала его. Он остановился на пороге. Она привстала с дивана в испуге и выпрямилась пред ним. Ее взгляд, неподвижно устремленный на него, изображал ужас и неутолимую скорбь. И по одному этому взгляду он уже понял сразу, что ей все известно.

— Что же мне, входить к тебе или уйти? — спросил он недоверчиво.

— Я целый день сидела у Софьи Семеновны; мы ждали тебя обе. Мы думали, что ты непременно туда зайдешь.

Раскольников вошел в комнату и в изнеможении сел на стул.

— Я как-то слаб, Дуня; уж очень устал; а мне бы хотелось хоть в эту-то минуту владеть собою вполне.

Он недоверчиво вскинул на нее глазами.

— Где же ты был всю ночь?

— Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы; это я помню. Я хотел там и покончить, но... я не решился... — прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню.

— Слава богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна! Стало быть, ты в жизнь еще веруешь; слава богу, слава богу!

Раскольников горько усмехнулся.

— Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться. Это бог знает как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю.

— Ты у матери был? Ты же ей и сказал? — в ужасе воскликнула Дуня. — Неужели ты решился сказать?

— Нет, не сказал... словами; но она многое поняла. Она слышала ночью, как ты бредила. Я уверен, что она уже половину понимает. Я, может быть, дурно сделал, что заходил. Уж и не знаю, для чего я даже и заходил-то. Я низкий человек, Дуня.

— Низкий человек, а на страданье готов идти! Ведь ты идешь же?

— Иду. Сейчас. Да, чтоб избежать этого стыда, я и хотел утопиться, Дуня, но подумал, уже стоя над водой, что если я считал себя до сей поры сильным, то пусть же я и стыда теперь не боюсь, — сказал он, забегаая наперед. — Это гордость, Дуня?

— Гордость, Родя.

Как будто огонь блеснул в его потухших глазах; ему точно приятно стало, что он еще горд.

— А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды? — спросил он с безобразною усмешкой, заглядывая в ее лицо.

— О Родя, полно! — горько воскликнула Дуня.

Минуты две продолжалось молчание. Он сидел потупившись и смотрел в землю; Дунечка стояла на другом конце стола и с мучением смотрела на него. Вдруг он встал:

— Поздно, пора. Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя.

Крупные слезы текли по щекам ее.

— Ты плачешь, сестра, а можешь ты протянуть мне руку?

— И ты сомневался в этом?

Она крепко обняла его.

— Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже вполтину свое преступление? — вскричала она, сжимая его в объятиях и целуя его.

— Преступление? Какое преступление? — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве, — то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о нем и смывать его не думаю. И что мне все тычут со всех сторон: «преступление, преступление!». Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве еще из выгоды, как предлагал этот... Порфирий!..

— Брат, брат, что ты это говоришь! Но ведь ты кровь пролил! — в отчаянии вскричала Дуня.

— Которую все проливают, — подхватил он чуть не в иступлении, — которая льется и всегда лилась на свете, как водопад, [которую льют, как шампанское, и за которую венчают в Капитолии](#) и называют потом благодетелем человечества. Да ты взгляни только пристальнее и разгляди! Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче (при неудаче все кажется глупо!)... Этою глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользой... Но я, я и первого шага не выдержал, потому что я — подлец! Вот в чем все и дело! И все-таки вашим взглядом не стану смотреть: если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!

— Но ведь это не то, совсем не то! Брат, что ты это говоришь!

— А! не та форма, не так эстетически хорошая форма! Ну, я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами, правильной осадой, более почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!.. Никогда, никогда яснее не сознавал я этого, как теперь, и более чем когда-нибудь не понимаю моего преступления! Никогда, никогда не был я сильнее и убежденнее, чем теперь!..

Краска даже ударила в его бледное, изнуренное лицо. Но, проговаривая последнее восклицание, он нечаянно встретился взглядом с глазами Дуни, и столько, столько муки за себя встретил он в этом взгляде, что невольно опомнился. Он почувствовал, что все-таки сделал несчастными этих двух бедных женщин. Все-таки он же причиной...

— Дуня, милая! Если я виновен, прости меня (хоть меня и нельзя простить, если я виновен). Прощай! Не будем спорить! Пора, очень пора. Не ходи за мной, умоляю тебя, мне еще надо зайти... А поди теперь и тотчас же сядь подле матери. Умоляю тебя об этом! Это последняя, самая большая моя просьба к тебе. Не отходи от нее все время; я оставил ее в тревоге, которую она вряд ли перенесет: она или умрет, или сойдет с ума. Будь же с нею! Разумихин будет при вас; я ему говорил... Не плачь обо мне: я постараюсь быть и мужественным и честным, всю жизнь, хоть я и убийца, может быть, ты услышишь когда-нибудь мое имя. Я не осрамлю вас, увидишь; я еще докажу... теперь покамест до свиданья, — поспешил он заключить, опять заметив какое-то странное выражение в глазах Дуни при последних словах и обещаниях его. — Что же ты так плачешь? Не плачь, не плачь; ведь не совсем же расстаемся!.. Ах, да! Постой, забыл!..

Он подошел к столу, взял одну толстую запыленную книгу, развернул ее и вынул заложенный между листами маленький портретик, акварелью, на слоновой кости. Это был портрет хозяйкиной дочери, его бывшей невесты, умершей в горячке, той самой странной девушки, которая хотела идти в монастырь. С минуту он всматривался в это выразительное и болезненное личико, поцеловал портрет и передал Дунечке.

— Вот с нею я много переговорил и *об этом*, с нею одной, — произнес он вдумчиво, — ее сердцу я много сообщил из того, что потом так безобразно сбылось. Не беспокойся, — обратился он к Дуне, — она не согласна была, как и ты, и я рад, что ее уж нет. Главное, главное в том, что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое, — вскричал он вдруг, опять возвращаясь к тоске своей, — все, все, а приготовлен ли я к

тому? Хочу ли я этого сам? Это, говорят, для моего испытания нужно! К чему, к чему все эти бессмысленные испытания? К чему они, лучше ли я буду сознавать тогда, раздавленный муками, идиотством, в старческом бессилии после двадцатилетней каторги, чем теперь сознаю, и к чему мне тогда и жить? Зачем я теперь-то соглашаюсь так жить? О, я знал, что я подлец, когда я сегодня, на рассвете, стоял над Невой!

Оба, наконец, вышли. Трудно было Дуне, но она любила его! Она пошла, но, отойдя шагов пятьдесят, обернулась еще раз взглянуть на него. Его еще было видно. Но, дойдя до угла, обернулся и он; в последний раз они встретились взглядами; но, заметив, что она на него смотрит, он нетерпеливо и даже с досадой махнул рукой, чтоб она шла, а сам круто повернул за угол.

«Я зол, я это вижу, — думал он про себя, устыдясь чрез минуту своего досадливого жеста рукой Дуне. — Но зачем же они сами меня так любят, если я не стою того! О, если б я был один и никто не любил меня и сам бы я никого никогда не любил! *Не было бы всего этого!* А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать — двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благоговением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь, этого-то им и надобно... Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того — идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования! О, как я их всех ненавижу!»

Он глубоко задумался о том: «каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, пред всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смирится! А что ж, почему ж и нет? Конечно, так и должно быть. Разве двадцать лет непрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем, зачем же жить после этого, зачем я иду теперь, когда сам знаю, что все это будет именно так, как по книге, а не иначе!»

Он уже в сотый раз, может быть, задавал себе этот вопрос со вчерашнего вечера, но все-таки шел.

## VIII

Когда он вошел к Соне, уже начинались сумерки. Весь день Соня прождала его в ужасном волнении. Они ждали вместе с Дуней. Та пришла к ней еще с утра, вспомнив вчерашние слова Свидригайлова, что Соня «об этом знает». Не станем передавать подробностей разговора, и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью; в ней искал он человека, когда ему понадобился человек; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так. Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать: она, напротив, считала себя недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та отклонялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недостижимых видений в ее жизни.

Дунечка наконец не вытерпела и оставила Соню, чтобы ждать брата в его квартире; ей все казалось, что он туда прежде придет. Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, действительно он покончит самоубийством. Того же боялась и Дуня. Но обе они весь день наперерыв разубеждали друг друга всеми доводами в том, что этого быть не может, и были спокойнее, пока были вместе. Теперь же, только что разошлись, и та и другая стали об одном этом только и думать. Соня припоминала, как вчера Свидригайлов сказал ей, что у Раскольникова две дороги — Владимирка или... Она знала к тому же его тщеславие, заносчивость, самолюбие и неверие. «Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его

жить?» — подумала она наконец в отчаянии. Солнце между тем уже закатывалось. Она грустно стояла пред окном и пристально смотрела в него, — но в окно это была видна только одна капитальная небеленая стена соседнего дома. Наконец, когда уж она дошла до совершенного убеждения в смерти несчастного, — он вошел в ее комнату.

Радостный крик вырвался из ее груди. Но, взглянув пристально в его лицо, она вдруг побледнела.

— Ну да! — сказал, усмехаясь, Раскольников, — я за твоими крестами, Соня. Сама же ты меня на перекресток посылала; что ж теперь, как дошло до дела, и струсила!

Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон: холодная дрожь прошла было по ее телу, но через минуту она догадалась, что и тон и слова эти — все было напускное. Он и говорил-то с нею, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо.

— Я, видишь, Соня, рассудил, что этак, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельство... Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только знаешь что злит? Мне досадно, что все эти глупые, зверские хари обступят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надобно отвечать, — будут указывать пальцами... Тьфу! Знаешь, я не к Порфирию иду; надоел он мне. Я лучше к моему приятелю Пороху пойду, то-то удивлю, то-то эффекта в своем роде достигну. А надо бы быть хладнокровнее; слишком уж я желчен стал в последнее время. Веришь ли: я сейчас погрозил сестре чуть ли не кулаком за то только, что она обернулась в последний раз взглянуть на меня. Свинство этакое состояние! Эх, до чего я дошел? Ну, что же, где кресты?

Он был как бы сам не свой. Он даже и на месте не мог устоять одной минуты, ни на одном предмете не мог сосредоточить внимания; мысли его перескакивали одна через другую, он заговаривался; руки его слегка дрожали.

Соня молча вынула из ящика два креста, кипарисный и медный, перекрестилась сама, перекрестила его и надела ему на грудь кипарисный крестик.

— Это, значит, символ того, что крест беру на себя, хе! хе! И точно я до сих пор мало страдал! Кипарисный, то есть простонародный; медный — это Лизаветин, себе берешь, — покажи-ка? так на ней он был... в ту минуту? Я знаю тоже подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушонке на грудь. Вот бы те кстати теперь, право, те бы мне и надеть... А впрочем, вру я все, о деле забуду; рассеян я как-то!.. Видишь, Соня, — я, собственно, затем пришел, чтобы тебя предупредить, чтобы ты знала... Ну, вот и все... Я только затем ведь и пришел. (Гм, я, впрочем, думал, что больше скажу.) Да ведь ты и сама хотела, чтоб я пошел, ну вот и буду сидеть в тюрьме, и сбудется твое желание; ну чего ж ты плачешь? И ты тоже? Перестань, полно; ох, как мне это все тяжело!

Чувство, однако же, родилось в нем; сердце его сжалось, на нее глядя. «Эта-то, эта-то чего? — думал он про себя, — я-то что ей? Чего она плачет, чего собирает меня, как мать или Дуня? Нянька будет моя!»

— Перекрестись, помолись хоть раз, — дрожащим, робким голосом попросила Соня.

— О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца... Ему хотелось, впрочем, сказать что-то другое.

Он перекрестился несколько раз. Соня схватила свой платок и накинула его на голову. Это был зеленый драдедамовый платок, вероятно тот самый, про который упоминал тогда Мармеладов, «фамильный». У Раскольникова мелькнула об этом мысль, но он не спросил. Действительно, он уже сам стал чувствовать, что ужасно рассеян и как-то безобразно встревожен. Он испугался этого. Его вдруг поразило и то, что Соня хочет уйти вместе с ним.

— Что ты! Ты куда? Оставайся, оставайся! Я один, — вскричал он в малодушной досаде и, почти озлобившись, пошел к дверям. — И к чему тут целая свита! — бормотал он, выходя.

Соня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, он уже забыл о ней; одно язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его.

«Да так ли, так ли все это? — опять-таки подумал он, сходя с лестницы, — неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить... и не ходить?»

Но он все-таки шел. Он вдруг почувствовал окончательно, что нечего себе задавать вопросы. Выйдя на улицу, он вспомнил, что не простился с Соней, что она осталась среди комнаты, в своем зеленом платке, не смея шевельнуться от его окрика, и приостановился на миг. В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его, — точно ждала, чтобы поразить его окончательно.

«Ну для чего, ну зачем я приходил к ней теперь? Я ей сказал: за делом; за каким же делом? Никакого совсем и не было дела! Объявить, что *иду*; так что же? Экая надобность! Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»

Он шел по набережной канавы, и недалеко уж оставалось ему. Но, дойдя до моста, он приостановился и вдруг повернул на мост, в сторону, и прошел на Сенную.

Он жадно осматривался направо и налево, всматривался с напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; все выскользало. «Вот чрез неделю, чрез месяц меня провезут куда-нибудь в этих арестантских каретах по этому мосту, как-то я тогда взгляну на эту канаву, — запомнить бы это? — мелькнуло у него в голове. — Вот эта вывеска, как-то я тогда прочту эти самые буквы? Вот тут написано: „Товарищество“, ну, вот и запомнить это *а*, букву *а*, и посмотреть на нее чрез месяц, на это самое *а*: как-то я тогда посмотрю? Что-то я тогда буду ощущать и думать?... Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние... заботы! Конечно, все это, должно быть, любопытство... в своем роде (ха-ха-ха! об чем я думаю!)... я ребенком делаюсь, я сам пред собою фанфарону; ну чего я стыжу себя? Фу, как толкаются! Вот этот толстый — немец, должно быть, — что толкнул меня: ну, знает ли он, кого толкнул? Баба с ребенком просит милостыню, любопытно, что она считает меня счастливее себя. А что, вот бы и подать для курьезу. Ба, пятак уцелел в кармане, откуда? На, на... возьми, матушка!»

— Сохрани тебя Бог! — послышался плачевный голос нищей.

Он вошел на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он шел именно туда, где виднелось больше народу. Он бы дал все на свете, чтоб остаться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не пробудет один. В толпе безобразничал один пьяный: ему все хотелось плясать, но он все валился на сторону. Его обступили. Раскольников протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нем, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошел, наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошел до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, захватило его всего — с телом и мыслию.

Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: „Я убийца!“» Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю...

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.



Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан.

— Парнишка еще молодой! — ввернул третий.

— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.

— Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет.

Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольников, и слова «я убил», может быть готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Он спокойно, однако ж, вынес все эти крики и, не озираясь, пошел прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему; он уже предчувствовал, что так и должно было быть. В то время, когда он, на Сенной, поклонился до земли в другой раз, оборотившись влево, шагах в пятидесяти от себя он увидел Соню. Она пряталась от него за одним из деревянных барачков, стоявших на площади, стало быть, она сопровождала все его скорбное шествие! Раскольников почувствовал и понял в эту минуту, раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось... но — вот уж он и дошел до рокового места...

Он довольно бодро вошел во двор. Надо было подняться в третий этаж. «Покамест еще подымусь», — подумал он. Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, о многом еще можно передумать.

Опять тот же сор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир открыты настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его немели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтоб оправиться, чтобы войти *человеком*. «А для чего? зачем? — подумал он вдруг, осмыслив свое движение. — Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. — В воображении его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. — Неужели в самом деле к нему? А нельзя ли к другому? Нельзя ли к Никодиму Фомичу? Поворотить сейчас и пойти к самому надзирателю на квартиру? По крайней мере обойдется домашним образом... Нет, нет! К Пороху, к Пороху! Пить, так пить всё разом...»

Похолодев и чуть-чуть себя помня, отворил он дверь в контору. На этот раз в ней было очень мало народу, стоял какой-то дворник и еще какой-то простолудин. Сторож и не выглядывал из своей перегородки. Раскольников прошел в следующую комнату. «Может, еще можно будет и не говорить», — мелькало в нем. Тут одна какая-то личность из писцов, в приватном сюртуке, прилаживалась что-то писать у бюро. В углу усаживался еще один писарь. Заметова не было. Никодима Фомича, конечно, тоже не было.

— Никого нет? — спросил было Раскольников, обращаясь к личности у бюро.

— А вам кого?

— А-а-а! Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух... как это там в сказке... забыл! М-мае п-пачтенье! — вскричал вдруг знакомый голос.

Раскольников задрожал. Пред ним стоял Порох; он вдруг вышел из третьей комнаты. «Это сама судьба, — подумал Раскольников, — почему он тут?»

— К нам? По какому? — восклицал Илья Петрович. (Он был, по-видимому, в превосходнейшем и даже капельку в возбужденном состоянии духа.) — Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю... А впрочем, чем могу. Я признаюсь вам... как? как? Извините...

— Раскольников.

— Ну что: Раскольников! И неужели вы могли предположить, что я забыл! Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого... Родион Ро... Ро... Родионыч, так, кажется?

— Родион Романыч.

— Да, да-да! Родион Романыч, Родион Романыч! Этого-то я и добивался. Даже

многократно справлялся. Я, признаюсь вам, с тех пор искренно горевал, что мы так тогда с вами... мне потом объяснили, я узнал, что молодой литератор и даже ученый... и, так сказать, первые шаги... О господи! Да кто же из литераторов и ученых первоначально не делал оригинальных шагов! Я и жена моя — мы оба уважаем литературу, а жена так до страсти!.. Литературу и художественность! Был бы благороден, а прочее все можно приобрести талантами, знанием, рассудком, гением! Шляпа — ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин, я ее у Циммермана куплю; но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается, того уж я не куплю-с!.. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться, да думал, может, вы... Однако ж и не спрошу: вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали?

— Да, мать и сестра.

— Имел даже честь и счастье встретить вашу сестру, — образованная и прелестная особа. Признаюсь, я пожалел, что мы тогда с вами до того разгорячились. Казус! А что я вас тогда, по поводу вашего обморока, некоторым взглядом окинул, — то потом оно самым блистательным образом объяснилось. Изуверство и фанатизм! Понимаю ваше негодование. Может быть, по поводу прибывшего семейства квартиру переменяете?

— Н-нет, я только так... Я зашел спросить... я думал, что найду здесь Заметова.

— Ах да! Ведь вы подружились: слышал-с. Ну, Заметова у нас нет, — не застали. Да-с, лишились мы Александра Григорьевича! Со вчерашнего дня в наличности не имеется; перешел... и, переходя, со всеми даже перебрался... так даже невежливо... Ветренный мальчишка, больше ничего; даже надежды мог подавать; да, вот, подите с ними, с блистательным-то юношеством нашим! Экзамен, что ли, какой-то хочет держать, да ведь у нас только бы поговорить да пофанфаронить, тем и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы али там господин Разумихин, ваш друг! Ваша карьера ученая часть, и вас уже не собьют неудачи! Вам все эти красоты жизни, можно сказать — nihil est<sup>2</sup>, аскет, монах, отшельник!.. для вас книга, перо за ухом, ученые исследования, — вот где парит ваш дух! Я сам отчасти... [записки Ливингстона изволили читать?](#)

— Нет.

— А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось; ну да ведь оно и понятно; времена-то какие, я вас спрошу? А впрочем, я с вами... ведь вы, уж конечно, не нигилист! Отвечайте откровенно, откровенно!

— Н-нет...

— Нет, знаете, вы со мной откровенно, вы не стесняйтесь, как бы наедине сам себе! Иное дело служба, иное дело... вы думали, я хотел сказать: *дружба*, нет-с, не угадали! Не дружба, а чувство гражданина и человека, чувство гуманности и любви ко Всевышнему. Я могу быть и официальным лицом и при должности, но [гражданина и человека я всегда ощущать в себе обязан](#) и дать отчет... Вы вот изволили заговорить про Заметова. Заметов, он соскандалит что-нибудь на французский манер в неприличном заведении, за стаканом шампанского или донского, — вот что такое ваш Заметов! А я, может быть, так сказать, сгорел от преданности и высоких чувств и сверх того имею значение, чин, занимаю место! Женат и имею детей. Исполняю долг гражданина и человека, а он кто, позвольте спросить? Отношусь к вам, как к человеку, облагороженному образованием. Вот еще этих повивальных бабок чрезмерно много распространяется.

Раскольников поднял вопросительно брови. Слова Ильи Петровича, очевидно недавно вышедшего из-за стола, стучали и сыпались перед ним большею частью как пустые звуки. Но часть их он все-таки кое-как понимал; он глядел вопросительно и не знал, чем это все кончится.

— Я говорю про этих стриженных девок, — продолжал словоохотливый Илья Петрович, — я прозвал их сам от себя повивальными бабками и нахожу, что прозвание совершенно удовлетворительно. Хе! хе! Лезут в академию, учатся анатомии; ну скажите, я вот заболел, ну позову ли я девицу лечить себя? Хе! хе!

Илья Петрович хохотал, вполне довольный своими остротами.

— Оно, положим, жажда к просвещению неумеренная; но ведь просветился, и довольно. Зачем же злоупотреблять? Зачем же оскорблять благородные личности, как делает негодяй Заметов? Зачем он меня оскорбил, я вас спрошу? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось, — так это вы представить не можете. Все это проживает последние деньги и убивает самого себя. Девчонки, мальчишки, старцы!.. Вот еще сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлыч, а Нил Павлыч! как его, джентльмена-то, о котором сообщили давеча, застрелился-то на Петербургской?

— Свидригайлов, — сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты.

Раскольников вздрогнул.

— Свидригайлов! Свидригайлов застрелился! — вскричал он.

— Как! Вы знаете Свидригайлова?

— Да... знаю... Он недавно приехал...

— Ну да, недавно приехал, жены лишился, человек поведения забубенного, и вдруг застрелился, и так скандально, что представить нельзя... оставил в своей записной книжке несколько слов, что он умирает в здравом рассудке и просит никого не винить в его смерти. Этот деньги, говорят, имел. Вы как же изволите знать?

— Я... знаком... моя сестра жила у них в доме гувернанткой...

— Ба, ба, ба... Да вы нам, стало быть, можете о нем сообщить. А вы и не подозревали?

— Я вчера его видел... он... пил вино... я ничего не знал.

Раскольников чувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило.

— Вы опять как будто побледнели. У нас здесь такой спертый дух...

— Да, мне пора-с, — пробормотал Раскольников, — извините, беспокоил...

— О, помилуйте, сколько угодно! удовольствие доставили, и я рад заявить...

Илья Петрович даже руку протянул.

— Я хотел только... я к Заметову...

— Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие.

— Я... очень рад... до свидания-с... — улыбался Раскольников.

Он вышел; он качался. Голова его кружилась. Он не чувствовал, стоит ли он на ногах. Он стал сходить с лестницы, упираясь правой рукой об стену. Ему показалось, что какой-то дворник, с книжкой в руке, толкнул его, взбираясь навстречу ему в контору; что какая-то собачонка заливалась-лаяла где-то в нижнем этаже и что какая-то женщина бросила в нее скалкой и закричала. Он сошел вниз и вышел во двор. Тут на дворе, недалеко от выхода, стояла бледная, вся помертвевшая, Соня и дико, дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил вверх, опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице.

— А-а-а? Вы опять! Оставили что-нибудь?.. Но что с вами?

Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог; слышались лишь какие-то бессвязные звуки.

— С вами дурно, стул! Вот, сядьте на стул, садитесь! Воды!

Раскольников опустил на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.

— Это я... — начал было Раскольников.

— Выпейте воды.

Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил:

— *Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил.*

Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались.

Раскольников повторил свое показание. ....

- 
- <sup>1</sup> напрасно! (*нем.*)  
<sup>2</sup> надгробного слова (*фр.*).  
<sup>3</sup> милый друг (*фр.*).  
<sup>4</sup> естественность и искренность (*фр.*).  
<sup>5</sup> Где только не гнездится добродетель? (*фр.*)  
<sup>6</sup> довольно болтать! (*фр.*)  
<sup>7</sup> прощай, моя радость (*фр.*).  
<sup>8</sup> теория как всякая другая (*фр.*).  
<sup>9</sup> ничто (*лат.*).